

Наталья Кравченко

*Поэзия не знает дня рождения.
Ещё не воплощённая в словах,
она была озвучена гуденьем,
журчанием, шептаньем в деревьях,
небесным громом, рыком динозавров...
Заполнив чёрный космос провал,
зародыш поэтического завтра
в утробе мира тайно созрел.*

*Из бренной пены, вдохновенной дрожи,
выпутывая голос из сетей,
она рождалась, тишину корёжа
страдальческим мычаньем предлюдей.*

*Теперь уже не выznать, не исчислить,
как чувства, переросшие инстинкт,
преобразались постепенно в мысли,
как те потом перетекали в стих...*

*Добравшись до истоков этой жажды,
себя на любопытстве я ловлю:
кто, на каком наречии однажды
исторг из глотки: "я...тебя... Люблю!"?*

*Сквозь хаос ритмов, щебетанье птичье
пробилась мука музыки немой.
И стало тех слогов косноязычье
рождением поэзии самой*.*

*Это стихотворение завоевало второе место на Международном конкурсе поэзии
"Пушкинская лира". Нью-Йорк. 2003 год.

Наталья Кравченко



Непрошедшее время

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«ПУШКИНСКАЯ ЛИРА». НЬЮ-ЙОРК, 2003

Человек никогда не бывает властителем времени – но как заманчиво хотя бы замедлить его ход, чтобы не спеша изучить этот тающий оттенок, этот уходящий луч, эту тень, чей ускользающий бархат недоступен нашему осязанию.

В. Набоков

*Там, за могильным рубежом
сияет день незаходимый.*

Е. Баратынский

*Пусть роза сорвана – она ещё цветёт.
Пусть арфа сломана – аккорд ещё рыдает.*

С. Надсон

*Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь –
нет преходящих мгновений.*

Р. Рильке

*Ибо время, столкнувшись с памятью,
узнаёт о своём бесправии.*

И. Бродский

Все времена – как одно – в настоящем.

Т. Бек

НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Приволжское книжное издательство
Саратов
2005

УДК 882–1
ББК 84(2 Рос=Рус) 6–5
К–78

Кравченко Н. М.

К–78

Непрошедшее время – стихи, непридуманные истории, литературные эссе – Саратов: Приволжское книжное издательство, 2005. – 284 с.

ISBN 5–7633–1071–3

В новую книгу Наталии Кравченко вошли в основном не опубликованные стихи 2004–2005 годов.

Сила характера и неординарность взгляда и самооценки, страстное чувство и виртуозно точная форма, независимый интеллект и почти детский наив – всё это создаёт неповторимое лицо её лирики.

Книгу дополняют “непридуманные истории” автобиографического характера и литературные эссе о поэтах серебряного века и современности.

ISBN 5–7633–1071–3

УДК 882–1
ББК 84(2 Рос=Рус) 6–5

© Н.М. Кравченко

О ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ НАТАЛИИ КРАВЧЕНКО

Отклики разных лет

Александр Щуплов

Буду музыке внимать... Книжное обозрение, 1994, №5

А провинция продолжает удивлять... Столица берёт штурмом Белый Дом, решает основной вопрос современности: куда коммунисты спрятали нахапанные денежки? А провинция... пишет стихи. И не просто стихи: лирические. О любви.

Саратовское издательство “Кварк” выпустило сборник Наталии Кравченко “Любовь моя, сокровище...”. “Эти стихи пролежали в столе у автора и пылились у редакторов на полках почти 20 лет, – сообщает аннотация. – В пору “социалистического реализма” в свет их мог вывезти лишь идеологический паровозик...”. Наталия Кравченко не хочет быть умнее любой влюблённой женщины. Любовь слепа. Влюблённые – слепые. Они живут на ощупь, слушают – душой.

В сугробах валенки топя,
иду по февралю.
Повсюду я ищу тебя,
зову тебя, люблю.

Быть может, на свою беду
и на смех пошлых толп –
я всё равно тебя найду!
А после – хоть потоп.

Нужна ли здесь логика? Чувство влюблённости прощает и оправдывает любые алогизмы поступков и слов. Любовь – это фантомная боль, напоминающая о тех временах, когда мы обладали органом полёта (если вспомнить Пушкина). И наградой за бессонницы, мучения, ревности – счастье. Глупое, обыкновенное, редкоземельное:

Ждать тебя с работы,
пропадать с тоски,
сохнуть от заботы,
штопая носки...

Наталия Кравченко – счастливый человек: пишет стихи о любви. И печатает стихи о любви – в наш ужасный век (ужасные сердца...)

Лев Озеров
В поисках босой радости
Из предисловия к сборнику “В логове души” –
Саратов, “Валёр”, 1994

Некогда мы слышали произнесённые не без гордости слова:

Я лирик по складу своей души,
по самой строчечной сути.

Произнёс эти слова Николай Асеев. Может их повторить и Наталия Кравченко, книгу которой читатель держит перед собой.

Среди сотен обозначений лирики наиболее близкой к сути представляется мне такое: дневник на уровне исповеди, исповедь на уровне дневника. Непременное условие существования лирики – искренность. О ней не говорят. Она подразумевается. Без искренности не может быть и речи о лирике. В лучших случаях искренность достигает полной душевной распахнутости, целостного и по-своему безжалостного раскрытия индивидуальности.

Дом заброшен, зола остыла,
лишь бурьян-трава между плит.
Но пробился росток в пустыне.
Он живой ещё. Он болит.

Всего четыре строки из стихотворения Наталии Кравченко “Живое”, и вам нежданно-негаданно открывается воспалённый, можно сказать, болевой мир существования. Зброшенный дом, зола, бурьян-трава, росток. Это легко перенести на полотно. Это словесная графика. Но только поэзия может двумя короткими фразами передать настроение: “Он живой ещё. Он болит”. Это уже не только о ростке. Автор не предлагает какой-либо разгадки. Но вы и без того всё чувствуете. Я не обмолвился, чувствуете. Это важно для характеристики автора книги: сфера чувствования, точнее, чувствований – это сфера Наталии Кравченко. Она проявляется подчас в сфере быта, в, казалось бы, несущественных его подробностях:

Сердце в латах. Дом в заплатах.
Муж запущен, пёс забыт.
О плюгавый и заклятый,
укатавший Сивку быт!
Месяц щурится ущербно,
ухмыляясь в темноте.
Свет неясный и неверный,
дело к ночи, быть беде...

Ничего не скажешь – густопсовый быт, из досадных и убийственных подробностей которого складывается бытие и – с большой буквы – Бытие. Вот как творится настроение, чувство, восприятие. Именно в этих условиях живёт душа, не только живёт, но и растёт. В том же стихотворении:

О душа моя каплунья,
возродишься ли, вопя,
словно месяц в полнолуние,
дорастая до себя?

Да, надо дорости до себя. Это трудно. Но душа этим и жива. Дорости до себя так же, как “домолчаться до стихов”, как писала наша славная современница Мария Петровых.

Поэт накапливает энергию молчания. Он ждёт взрыва. “Город чист, словно лист бумаги без следов моего пера”. Он чист до поры до времени.

Мир в серебряном озаренье,
неподвластный карандашу,
как бессмертное стихотворенье,
что когда-нибудь напишу.

Скромно, осторожно, бережно сказано. А вместе с тем каждый творец мечтает об этом. Он живёт в ожидании этого.

О молчанье! О тютчевское “Silentium!”. Для этого мало сомкнуть губы и бездействовать. Для этого нужна долговременная и упорная работа души. Тогда-то и оправдана эта мелодика и пластика безмолвия. Поэт слушает докучливые и банальные бытовые реплики и одновременно хоралы из вселенной, шёпоты и гулы звёздных миров. Как понять их неисповедимый язык? Единственно, что можно сказать, – это язык непереводаемый.

Перевод с языка немоты,
темноты и ночного безмолвья...

В другом стихотворении у Наталии Кравченко

Купола возвышенного зодчества
излучают музыку молчанья.

Звёздные миры, творческое одиночество, архитектура, поэзия сливаются воедино и создают по-своему образный и тематический круг. У этого автора молчание не равно себе, оно раздвигается до понятия творческого начала и нового накопления житейских сил.

К сфере высокого молчания и сосредоточенности относится любовная лирика, занимающая в книге Наталии Кравченко заметное место. Именно

любовью овеяны строки лучших стихотворений. Это сквозной образ книги, её сверхзадача.

Неужели ты не слышишь,
как во мне кричат слова?

Тишина тоже умеет кричать. “И снова, как будто навстречу рассвету, бегу я на свет твоих глаз”. Вижу и рассвет, и свет его глаз, но – всего лучше – вижу ещё более сильный свет её глаз. Точно так же в другом стихотворении на свет фазаньих глаз летела одинокая фазаниха. Дело в том, что в сельском краеведческом музее было выставлено фазанье чучело, фазаниха увидела фазана в стекле окна и решила, что он живой. Она билась о стекло и покалечилась.

Не в силах это перенести,
она упала там, у здания.
...О женщины! Во всех нас есть
частичка глупого, фазаньего.
Преданье памяти хранит
лицо, что так когда-то мучило.
Как билась о его гранит...
А это было просто чучело.

Мораль не произнесена. Но она висит над стихотворением: нельзя принимать истинное чувство за чучело, мёртвое за живое.

В книге Наталии Кравченко немало драматизма. Но в основе своей поэт открыт миру и людям. Здесь монологи часто переходят в диалоги. Поэт делится с людьми своим духовным миром, предлагает даже своего рода рецепт, “как выжить нам”:

Кусочек радуги, щепотку тишины,
глоток дождя, пять капель Пастернака,
тепло ладони, краешек луны,
свежинку вечера, – не много ли, однако?

Дальше идут: кисть сирени, соловей, “улыбки четверть, чуточку надежды”. Очень мило! Это, конечно, лирический рецепт, и всё же, всё же, всё же... В другом месте даётся дополнение к рецепту счастья, якобы возможного в наше “апокалипсическое время”:

Есть всё, что для счастья надо:
работа, семья, дела.
Но где та босая радость,
куда она забрела?

Оказывается, всё есть, и чего-то существенного нет. Нет самого простого и самого недоступного, нет явленной в детстве “босой радости”. Слово названо. Мы приступаем к чтению книги, которую можно было бы назвать “В поисках босой радости”. Она названа иначе. Пускай! Простая и недостижимая босая радость ясного, рассветного, росистого утра жизни остается сквозным образом лежащей перед читателем книги.

Лев Озеров

Из письма от 05.02.1995

Понимаю, как трудно выслушивать критические замечания. Но я умолчал бы о них, если бы только не чувствовал по лучшим Вашим строкам и строфам, что Вы можете, что Вы сможете.

У меня давняя страсть сплющивать стихи, доводить строки до минимума, а громкий голос до шепота, до шевеления губ. Вот почему я позволил себе некоторые сокращения в Вашей рукописи. Среди Ваших лирических опусов я выбрал наиболее примечательные, они-то образуют и украшают книгу.

Хочу загодя поздравить Вас с наступающей чередой предвесенних и весенних праздников. Будьте здоровы и счастливы в Вашем понимании этого таинственного слова.

Пётр Старчик

Из интервью для «Радио России» от 10.05.1995

...Здесь можно было бы дать ещё формулу Наталии Кравченко. Это недавняя моя знакомая. Пока ещё музыки нет, но, я надеюсь, будет, потому что мне эти стихи... это полновесные стихи, стихи о любви, это её выражение, в этом она полностью высказывается и безупречно совершенно. Совершенно замечательная формула тоже. И эти стихи очень хорошо бы стояли в одном ряду со стихами Цветаевой, Седаковой, Сумарокова. И – Наталья Кравченко. В моём ряду это нормально всё стоит.

Николай Ивлиев

Наедине с собой – Земля саратовская, 11.02.1995

С творчеством Наталии Кравченко я впервые познакомился в начале 80-х годов, на занятиях литобъединения «Молодые голоса». Для меня, делавшего первые неуклюжие шаги в поэзии, многие молодые, как и Наташа, виделись тогда вполне определившимися поэтами.

Несмотря на долгое молчание и неблагоприятное внимание местных писателей, Н. Кравченко была, есть и, даст Бог, будет всегда неординарным и чистым светом русской поэзии. И подтверждение тому – увидевшая свет её вторая, прекрасно изданная издательством “Валёр” в МГП “Полиграфист” книга стихов “В логове души”.

В целом можно сказать, что образности, философской и поэтической мудрости автору книги не занимать, о чём свидетельствует и предисловие Льва Озерова. Её поэзия проста, доступна и в то же время сложна. Постоянно ощущается присутствие трёх миров – прошлого, настоящего и приоткрывшего солнцу свои нежные лепестки духовно чистого мира самой поэтессы.

Испытав неподдельную радость при чтении стихов об Эфроне, Ахматовой, Мандельштаме, Бальмонте, Кузмине, Хлебникове, Блоке и особенно о М. Цветаевой из цикла “Серебряный век”, я обратил внимание, насколько сердцу автора дорого и близко творчество великих поэтов.

И напрасно, лютуя, радуются и насмеваются ныне идущие обочиной от русской реалистической литературы и самой России слуги и лакеи. О них и о тех, кого они нам явили сегодня в виде всемогущих хозяев, отчаянно восклицает Н. Кравченко в стихотворении “Из огня – да в полымя...”:

Но судьба бумерангом
всё ж покажет вам кукиш.
Недоступна вам радость,
что на деньги не купишь.

Не дорогою к храму
вы ведёте нас, суки,
а дорогою хама,
а дорогою муки!

Может, резко для слуха звучит “суки”, но здесь эмоциональная перегрузка, боль и отчаяние поэтессы оправданы, как и в ещё одном, наиболее ёмком и выразительном стихотворении, четыре строфы которого процитирую:

Виват перестройка! Мечта идиота.
Прикончена идеология.
Но следом приходят ура-патриоты,
а это уже зоология.

Мы воем с волками. Да скроется разум!
Пытаемся выжить по Дарвину.
Изводит нас СПИД и другая зараза,
и нищих на паперти – армия.

Хозяева жизни, не пряча ухмылки,
глядят с высоты положения,
а люд по дворам собирает бутылки,
ища у попов утешения.

Еду “господам” выдают по талонам
и деньги меняют на акции.
А в клубах культуры теперь секс-салоны
и пьянки – пардон – презентации...

В стихотворении “9 мая 1994-го” – тоже о нас и о нашей затаённой в глубине души светлой надежде на спасение и возрождение человеческих ценностей:

Кончилось дежурство по апрелю,
часовой любви ушёл с поста.
Люди одурели, озверели,
так и не услышали Христа.

Но среди разрухи и упадка,
как их ни уродуй и ни рушь, –
теплится укромная лампадка
где-то в глубине усталых душ...

Отчаяние, боль, сострадание, надежда, любовь к России ярко и образно выражены в стихах “Исторгнув утро из нутра...”, “Тупая, кровавая родина...”, “Новая Россия”, “Мы – почва, перегной, навоз...”.

Утешьтесь всплывшею грязью –
всё обещает добры всходы.
Как отвратительно лицо
у вашей нынешней свободы!

Иван Малохаткин

Плевок в себя. – Саратовская мэрия, 14.04.1995

“В логове души”. Так назвала свою очередную книгу Н. Кравченко. Случайно ли? По прочтении книги я понял, не случайно. Это преднамеренный вызов вечному – душе. Известно, душа – царица тепла и нежности и, главное, сущая основа стиха. При отсутствии её стих мгновенно обретает форму информатики, сухого пересказа того или иного действия, пустой жалобы-обиды. Зато обездушенно писать проще, не теряется творческая энергия и сохраняется авторское здоровье. Поэтому Н. Кравченко, щадя себя, вынула из своих стихов их человеческое тепло и вращила в них нечто...

Тупая, кровавая родина,
вовек мы тебя не отмоем.
Тоскуя по жизни украденной,
в твоих околеем помоях.

Слепая, святая, юродивая,
бредёшь наугад, наудачу...
К тебе припадаю, уродина,
плюю, и целую, и плачу.

Невозможно данный пример приблизить к человеческому пониманию родины, ибо из этого рыка-лая тянет тем самым духом логова, из которого выползла поэтесса. Можно на кого-то обидеться, кого-то не любить, но так очевидно ненавидеть родину дано немногим. А в чём она, родина, виновата? В том, что происходит ныне в стране, повинны эпоха, дух времени, мотовство и разгильдяйство правителей. Страна в тяжелейшем положении, и всё же какой русский человек осмелится бросить камень, а тем более, плевать в святая святых – родину? Кравченко же, не анализируя сложившуюся ситуацию в стране, не проникая в характер жизни страны, походя, ради выгодной для себя сенсации, мол, вот я какая смелая – плюнула. Она начисто забыла о том, что народ испокон веков величает её с большой буквы: Мать-Родина.

Судя по её стихам, родина для неё просто место, где она проживает. Отсюда все её поэтические неудачи. В книге нет или почти нет стихов, восхваляющих родину. Безумная злоба пылает всюду.

Всю тебя измызгали,
с молотка пустили,
пулями и взрывами
как изрешетили.

Всю тебя изграбили,
но и обвиняя,
на луну Израиля
я не променяю.

Там, как помните, Н. Кравченко на Русь плюёт, здесь – обмен на луну Израиля, который, к счастью, не состоялся, наверное, из-за малости луны Израиля. А вот на американскую луну обмен бы произошёл.

Её стихи не дышат воздухом Отчизны. Кроме того, им недостаёт женственности, поэтической доверительности и правды.

До книги “В логове души” я о Н.Кравченко знал только то, что слышал о ней от собратьев-писателей. Одни восхищались её исключительным поэтическим даром, другие – наоборот. Перечитав внимательно книгу, я удостоверился: правы вторые.

Роман Арбитман
Пожиратель книг. – Саратов, 23.10.1996

“Сокровенное” – третья книга стихов известного саратовского поэта и ведущей популярных среди поклонников изящной словесности литературных вечеров в Областной научной библиотеке. Каждый из разделов авторского сборника (“Между строк”, “Грустное счастье”, “Анатомия любви”, “Богопротивные стихи”, “Родина крошечная моя”, “Стихи о тебе”, “Четверостишия”) раскрывают разные, подчас неожиданные для читателя, стороны дарования автора. Вероятно, политическая лирика из разделов “Богопротивные стихи” и “Родина крошечная моя” будет без энтузиазма воспринята коллегами-поэтами из “патриотического” лагеря, однако, автор, похоже, к этому готов...

Аркадий Цоглин
Презентация новой книги. – Губерния, 09.04.1997

Саратовские любители поэзии хорошо знакомы с творчеством Наталии Кравченко. Автор трёх книг лирики, ведущая литературных вечеров о творчестве русских поэтов, она заняла ведущее место в культурной жизни города.

23 марта в Доме культуры и науки состоялась презентация новой книги Наталии Кравченко “Сокровенное”. Как сказано в предисловии книги, “её сокровенное – это и боль по России, и сложные отношения с Богом, и тепло семейного очага, и многое другое, что, несомненно, найдет отклик в сердцах читателей”. Этот отклик действительно прозвучал. На презентацию пришло большое количество поклонников творчества поэтессы, уже знакомых с новым сборником, и тех, кто знал предыдущие публикации Наталии Максимовны.

В центре встречи была композиция из лирики “Сокровенного”, подготовленная артистами театров, песни на стихи Кравченко, написанные композитором С. Ивановым, выступления бардов. Конечно, в “Сокровенном” больше всего стихов о любви, многообразных оттенках этой безграничной темы. Кравченко удалось по-своему показать духовный мир любящей женщины. Недаром именно любовная лирика вызвала повышенный интерес многих читателей сборника, приславших автору письма, порой из дальних мест.

Владимир Слонов (В. Алифанов)
Культура. – Саратовская мэрия, 18.04.1997

В стихах живу я в полный рост,
а в жизни так не смею...

А дальше? Дальше – ещё пронзительней, ещё исповедальней:

Душой тянусь до самых звёзд,
а телом не умею.

Когда я услышал эти строки, меня словно молнией пронзило, и я понял, что они вошли в мою жизнь раз и навсегда, как, впрочем, и многие другие, вышедшие из-под пера саратовской поэтессы Наталии Кравченко, которая незаметно, словно бы исподволь (по крайней мере, для меня) выросла в значительного поэта.

Но, слава богу, это, быть может, я один проглядел рождение таланта! Разве не о том свидетельствует тот факт, что на презентацию её последней книги “Сокровенное” пришло столько почитателей её таланта, что отведённая для этих целей достаточно просторная комната областного Дома культуры и науки не могла вместить всех желающих. Пришлось срочно высвободить центральный смотровой зал, где проходят концерты вокально-оперной студии, спектакли театра-студии и другие массовые мероприятия.

И вот презентация началась, и зазвучали стихи – лёгкие и прозрачные, робкие и обнажённо-страстные, идущие к Господу и сомневающиеся в его существовании, откровенно фантастические, оторванные от бытовой конкретики, и публицистические, пуповиной связанные с нашей грешной действительностью. Словом, стихи, отражающие разные состояния души человеческой.

А ещё звучали в этот вечер песни – много песен, поскольку стихи Наталии Кравченко вдохновили не одного музыканта на написание к ним мелодий. Особенно органично “вписался” в них самодельный композитор, директор Православной гимназии Сергей Иванов, чьи песни (в частности, “Утоли моя печали”, “Рождество”) произвели на присутствующих большое впечатление.

...Двухчасовая презентация не охладила пыл собравшихся: выстроилась длинная очередь за автографами. Среди них был и я.

Роман Арбитман

...И ничего, кроме правды. – Саратов, 12.03.1998

Читать такие книги особенно интересно, хотя некоторым людям, думаю, ещё и страшновато: всегда есть шанс, перевернув страницу, вдруг увидеть и себя, причём в неприукрашенном виде...

Имя Наталии Кравченко хорошо знакомо саратовским любителям поэзии, однако на сей раз большую часть двух её новых книг – “Будьте Вы благословенны” (Саратов, “Надежда”, 1997) и “Публичная профессия” (Саратов, изд-во СГУ, 1998) – составляют “непридуманные записки” о событиях недавнего прошлого и о людях, в эти события вовлечённых.

Обе книги смело можно отнести к тому единственному проценту современных воспоминаний, которые подкупают непоказной искренностью

самооценок. До сих пор ничего подобного в нашем городе не издавалось. “Эта книга выросла из дневниковых записей, писем, набросков, воспоминаний, – говорится в предисловии к сборнику “Будьте Вы благословенны”. – Это очень личные заметки”. В предисловии к другому сборнику читаем: “В этой книге – вся моя жизнь. Я выплеснула в ней всё, что хотела сказать о себе и о своём времени. Детство, школьные и студенческие годы, случаи из журналистской практики и хроника моих литературных вечеров, сценки из семейной жизни и зарисовки “с натуры”, признания в любви друзьям и ответы недоброжелателям... Ни одного придуманного эпизода — всё правда”.

Первая из названных книг открывается очень личным и очень весёлым повествованием, которое названо “Историями моей любви”. Автор с большим юмором описывает свои романтические увлечения, начиная с детсадовского возраста, – и сама подсмеивается над своими попытками приводить чувства подростка в строгое соответствие с максимами, почерпнутыми из серьёзных умных книг. Вообще же образ наивного “книжного ребёнка” (помните “книжных детей” из песни Владимира Высоцкого?), соизмеряющего жизнь с классическими схемами и пугающегося явного несоответствия между написанным и реальным, – очень близок и ведущему данной рубрики, и, вполне вероятно, немалому числу потенциальных читателей. По страницам повести проходят десятки персонажей – забавных, жутковатых, трогательных, пока, наконец, автор не встречает своего Главного и Единственного человека...

Вторая крупная вещь, которая включена в эту книгу, – это повесть в письмах, давшая название всему сборнику. Произведение выдержано в ином ключе, нежели первая повесть. Адресат писем – замечательный санкт-петербургский бард Александр Дольский, а основную часть текста составляет лирический дневник повествовательницы: события конца 80-х и начала 90-х в нашей стране и в нашем Саратове пропущены сквозь призму поэтического “я” автора. И хотя романтическое воодушевление первых перестроечных лет выглядит уже наивно, Наталия Кравченко сознательно не редактирует свои тогдашние записки. Такое уж было время; “исправлять” себя с позиций дня сегодняшнего означало бы задним числом переписывать историю... Венчает книгу подборка новых стихов поэтессы.

Если в книге “Будьте Вы благословенны” рассказывается о событиях, всё-таки отдалённых от времени публикации несколькими годами, то в сборнике новелл “Публичная профессия” речь идёт о событиях буквально дня вчерашнего – благо авторские “записки” созданы едва ли не по горячим следам. Подозреваю, что полемическая заострённость некоторых новелл (“Люблю я критиков моих”, “Патриоты”, “Интервью” и др.) и явная узнаваемость персонажей (многие из которых – весьма заметные в Саратове личности – названы своими именами) вызовут всплеск эмоций в журналистской, издательской и писательской среде города. Не исключаю, что мнения читателей могут разделиться: одни будут приветствовать смелую нелицеприятность “записок” Наталии Кравченко, а другие сочтут себя

обиженными и уязвлёнными, а откровенность оценок – эпатажирующей и скандальной.

Завершает книгу эссе “Живое и мёртвое”, где высказываются авторские суждения о критериях оценки современной поэзии. Суждения эти, признаться, во многом расходятся с общепринятыми, но от этого не становятся менее интересными. Сходную же задачу защиты поэзии от суррогатов автор ставит и в статье “Читая поэтов Саратова”, где даёт жёсткую отповедь многочисленным графоманам-версификаторам...

Очевидно, что каждая честная книга – это всегда поступок. И, как и всякий решительный поступок, новые книги Наталии Кравченко достойны не только заинтересованного внимания, но и безусловного уважения.

Ирина Коннова, Галина Лазаренко
Души серебряные струны. – Реклама недели, 04.02.1999

В январе в Областной научной библиотеке состоялась презентация книги Наталии Кравченко “Звезда или хлеб?” Это литературное исследование, размышления, этюды о поэтах и поэзии. Может быть, эта небольшая книжка станет когда-нибудь хрестоматией для школьников.

Презентация, как и все лекции Наталии Максимовны, собрала полный зал любителей поэзии. Неравнодушных слушателей всегда поражают глубина знаний, необычайная культура речи, смелость и энергия, огромное трудолюбие и талант Наталии Максимовны.

И пока есть у нас такой чистый, неиссякаемый источник – не всё потеряно для России. На фоне наших неурядиц, грубой, опошленной жизни, она

Стихи читала, чуть дыша,
свою звезду подняв до неба.
Её высокая душа
всегда была превыше хлеба.
И, скверне объявляя бой,
она дарила людям знанья.
Я верю, что её мольбой
из искры возгорится пламя.

Роман Арбитман
Заложники вечности у времени в плену. –
Саратов.03.03.1999

Книга статей Наталии Кравченко “Звезда или хлеб?” (Саратов, “Надежда”, 1999), подготовленная по материалам лекций автора в Областной научной библиотеке (эти содержательные лекции давно и хорошо известны нашим землякам) посвящена проблеме, актуальной во все времена, – “художник и власть”. Весь XX век прошёл в нашей стране под знаком

трагического противостояния людей искусства и властей предрержащих. Возможен ли был хоть какой-то компромисс? Или всякий компромисс с чиновными “носорогами” оказывался губителен для поэта? И почему столь глубока пропасть между “разрешённой литературой” (говоря словами Мандельштама) и “написанной без разрешения”? В книге Наталии Кравченко на конкретных поэтических примерах исследуются разные стадии исторического конфликта Творца с Администратором, от начала столетия до наших дней.

“Поэт и власть” – именно так называется первый раздел сборника. Второй имеет заглавие “О вере, изгойстве и христианской любви”, и статьи, опубликованные в этом разделе, касаются чрезвычайно злободневных тем: веры настоящей – и мнимой, религиозности истинной – и показной, любви к Отечеству подлинной – и той фальшивой, что скрывает за красивыми словами о патриотизме набухающий кровью призрак шовинизма. Да, временами книга предельно субъективна, но тем и ценна. Наталия Кравченко не считает нужным смягчать формулировки и не боится отстаивать свою точку зрения – а потому её сборник публицистики, подозреваю, вызовет гневное разлитие желчи у тех граждан, которые любят родину “по-макашовски”. И пусть вызовет.

Звезда или хлеб?

Из интервью Любови Чирковой у Наталии Кравченко,

Саратовский листок, 09.03.1999

Так называется новая (уже шестая!) книга саратовской поэтессы Наталии Кравченко, презентация которой состоялась недавно в Областной универсальной научной библиотеке. Читальный зал на 200 мест как всегда с трудом вместил всех почитателей её творчества, и опоздавшим пришлось искать дополнительные стулья. После незаметно пролетевшего творческого вечера наш корреспондент встретился с виновницей торжества.

– Наташа, что означает название Вашей книги?

– Оно было навеяно строчками недавно умершего саратовского поэта и художника А. Мураховского: “Вчера свою высокую звезду, сглотив слюну, я обменял на хлеб”. Перед каждым поэтом когда-нибудь встаёт проблема этого выбора: между звездой, то есть идеалом, гармонией, высшим началом в себе, и – хлебом, то есть материальной основой жизни, сиюминутной выгодой. Я как бы прилагаю это мерило ко всем поэтам, о которых рассказываю в своей книге. Мне было интересно выявить закономерность, степень взаимозависимости таланта и цельности личности, чистоты души. Кто из поэтов, чьи имена носят сейчас планеты и астероиды, и в жизни сумел остаться такой звездой, недостижимой для грязных лап власти, во все времена вторгающейся в сокровенную жизнь духа, пытающейся приспособить поэзию для оправдания и прославления своих бесчестных дел? Кто из поэтов не соблазнился её хлебом, оставшись выше сытости, сумев остаться несломленным Аввакумом, Джордано Бруно нашей поэзии, получив право

подписать под словами Пушкина: “И неподкупный голос мой был эхо русского народа”?

– И кто же это, интересно?

– Об этом вы узнаете, прочитав книгу, в частности, первую работу “Поэт и власть”. Во второй работе – “субъективные заметки “О вере, изгойстве и христианской любви”.

– Здесь затрагиваются вопросы религии?

– Да, только в широком смысле слова. Бог в представлении поэтов, философов – это не церковный Бог, а нечто большее, включающее такие понятия, как Дух, Добро, Совесть, Истина. Я пытаюсь здесь проследить связь между поэзией и религией, Богом и творческой личностью, рассмотреть божественную природу искусства. Стихи, творчество – это молитва, которая спасает. По крайней мере, в высшем, метафизическом смысле.

Сейчас модно канонизировать наших великих, представлять их непременно смиренными христианами. Однако далеко не все известные поэты прошлого были ортодоксально верующими, церковными людьми. У Тютчева, Сологуба, Анненского, Блока, Цветаевой и многих других складывались довольно сложные отношения с Богом. Я пишу об их сомнениях, поисках своей религии, близкой себе веры. Пишу о том, что меня не устраивает в нынешнем религиозном возрождении – фарисейство, формализм, приверженность стадному чувству. Должна сказать, что эта книжка не всем придётся по вкусу. Ортодоксы, ханжи, профессиональные патриоты, антисемиты многое в ней не примут.

– А чем она может не угодить последним?

– С вопросами веры, религии тесно связан вопрос национальности. Многие поэты еврейского происхождения (Пастернак, Мандельштам, Парнок, Галич) крестились, принимали христианство, были сторонниками ассимиляции еврейского народа в русской среде. Всё это, естественно, происходило не от хорошей жизни, последствия которой ощущаются и сегодня. Я пишу об этом достаточно откровенно и нелицеприятно.

– У Вашей третьей работы своеобразное название.

– Это лекция “Живое и мёртвое”, которая посвящена критериям отличия истинной поэзии от её имитации, суррогата, графоманства. Я рассматриваю этот вопрос на примерах стихов классиков и современных поэтов, в том числе и саратовских, публикаций в “Волге”. Антитезы “громкая – тихая”, “плохая – хорошая” слишком условны, только “живое – мёртвое” единственно уместный критерий в поэзии, на мой взгляд. Питер Брук, кстати, тоже делил театр на живой и мёртвый.

– Вы уже слышали первые отзывы?

– Да, и довольно много. Поэт Е. Малякин, весьма восторженно отозвавшийся о моих новеллах, секретарь СП И. Шульпин, заявивший, что эту книгу должны непременно прочесть все студенты и школьники, ибо это “готовое методическое пособие” и, видимо, в этом качестве её приобрели кафедра русской литературы Педагогического института, многие преподаватели ПАГС, школ и лицеев. Но я бы всё же не рискнула назвать эту

книгу методическим пособием. Для этого она слишком пристрастна и субъективна, лишена академического подхода и хрестоматийных клише, к которым привыкли наши преподаватели. А иные “непопулярные” взгляды могут кого-то и шокировать. Но я тем не менее оставляю за собой право на своё видение каких-то вещей.

Литературоведение
Кому что? 01.04.1999

Читателей новой книги Наталии Кравченко “Звезда или хлеб?” (Саратов, “Надежда”, 1999) представить себе нетрудно: это могут быть студенты или старшие школьники, кому необходимо получить “концентрированную” информацию о жизни и творчестве лучших российских поэтов XX века (Александра Блока и Николая Гумилёва, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Иосифа Бродского); это могут быть преподаватели школы или вуза; это могут быть, наконец, просто любители отечественной поэзии, желающие узнать побольше о своём любимом стихотворце (наряду с общеизвестной информацией в книге приводятся и редкие сведения, почерпнутые из труднодоступных источников). До сих пор о лекциях Наталии Кравченко могли судить лишь посетители её поэтических вечеров в Областной научной библиотеке. Теперь же, когда книга вышла, с ними могут познакомиться и все остальные саратовские поклонники поэзии.

Александр Кушнер
Из письма от 17.08.2000

Дорогая Наташа, спасибо за письмо и стихи, воистину “и нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать”. Ваш живой и такой талантливый отклик на стихи дороже всех критических похвал, как правило, топорных и плоских. Дар понимания поэзии – редкий дар, и всё-таки он встречается, и Ваше письмо – драгоценное тому подтверждение. Будьте здоровы и счастливы, Вы это заслужили: в Вашем письме проявилась и светится Ваша душа.

Ваш Александр Кушнер

Из письма от 31.08.2001

Спасибо за дружеское письмо, я им очень тронут и взволнован. Подлинное читательское сочувствие – большая редкость, и оно действительно даётся “как благодать”.

Ваши стихи прочёл с интересом, совершенно очевидно, что Вы пишете их не случайно, что они продиктованы правдой чувства и настоящим интересом к предмету высказывания. Наиболее удачным мне показалось последнее – с вопросом: “У счастливой любви не бывает стихов?”. Я с Вами абсолютно согласен: бывает! бывает!

От всей души ещё раз благодарю Вас за прелестное письмо, спасибо, спасибо! Будьте здоровы. И пишите стихи, а если захочется – присылайте их мне, буду рад – и обязательно отвечу. Всего доброго,

Ваш А.Кушнер

Из письма от 20.09.2001

Ваши стихи прочёл с интересом, отметил “В стихах живу я в полный рост...” – стихотворение, безусловно, настоящее, “Неграмотно, неопытно живу...”, “Обман, ошибка, опечатка...”, “Поверх барьеров и наречий”..., “Без пяти минут любовь...”, “Живу под грузом вашей немоты...”. Вы, конечно, лирик. Женщине труднее, чем мужчине, писать лирические стихи, – слишком просто вступить в колею, проложенную Ахматовой. Но Вам удаётся быть самостоятельной.

Из письма от 23.10.2001

...А затем ещё неделю провёл в Москве, на “форуме”, – у нас устроители любят торжественные названия, – молодых поэтов, вёл семинар; к сожалению, талантливых поэтов очень мало, большинство начинающих – “прирождённые нечитатели”, как говорил Мандельштам. Нечитатели, – следовательно, и свои стихи пишут плохо.

Теперь перехожу к Вашим стихам, которые мне понравились куда больше, – даже сравнивать нельзя с тем, что пришлось читать в Москве. Сейчас я перечислю те, что выделил, что показались мне наиболее интересными: “Привыкать к стезе земной...”, “Зову тебя. Ау! – кричу. – Алё!..”, “На встречу с таинственным Некто...”, – здесь особенно хороши две последние строки: “Но прибыль растёт от убытка, и радостью рдеет урон”. “Вы не такой, как мечталось...”, “Каждое слово – словно в перчатках...”, “Образ Ваш леплю я и малюю...”, “Я всего лишь кустарь-одиночка...”, “Мне пишет природа...”, “Копилка”. Мне кажется, Вы могли бы послать эти стихи в какой-нибудь журнал, московский, конечно (“Новый мир”, “Знамя”, альманах “Арион” и т.д.). Если бы я работал в редакции, я был бы рад таким стихам и постарался бы их напечатать.

Что касается критических замечаний, то позволю сделать одно: иногда Вы впадаете в излишнюю “красивость” – это касается и “поэтизмов” вроде “жёлтый танец”, “хорал ветров”, “прощальный вальс в безлиственной тиши” и т.п., да ещё иногда Вас подводит рифма: тубероза – розы. Но это мелочи. Главное – Вы в большинстве случаев точны, зорко видите вещи, и там, где чувство высказывается опосредованно, через “вещный”, предметный мир, с подробностями и деталями, – там добиваетесь удачи, прорыва к настоящей поэтической речи.

Что касается “экспромта”, то первые две строфы хороши (“Попытка дневника” – Н.К.), а дальше всё-таки пошло словоговорение, – следовательно, плыть по течению в стихах всё-таки, наверное, не стоит. Мне

больше нравятся Ваши “обдуманые”, “выстроенные”, если так можно сказать, стихи.

Будьте здоровы. От всей души желаю Вам счастья и новых стихов. И ещё раз: я был очень рад познакомиться с Вашими стихами (и те, что Вы прислали в последнем письме, лучше предыдущих).

Из письма от 03.01.2002

Дорогая Наташа, спасибо за добрые новогодние пожелания, я тоже от всей души желаю Вам здоровья, счастья, новых стихов, а ещё поменьше “неизвестности и пустоты”, побольше радости и наполненности жизни приятными для Вас людьми, книгами и событиями. Уверен, что так и будет, потому что Вы так устроены, что всё это притягиваете к себе своим теплом, вниманием, неподдельным интересом и щедростью.

Из письма от 31.05.2002

Ваши стихи я прочёл, отметил “Осень” (“Золотая моя природа!” – Н.К.), в цикле “Творчество” 1-ое и 3-е стих-ния (“Шагреновая кожа творчества!” – Н.К.), “Лежит и смотрит, как живая” – очень неожиданно и правильно использована блоковская строка. Понравилось стихотворение “Пастернак не заехал к родителям...”, – в нём высказана точная мысль и по-человечески верное недоумение, которое делает эти стихи очень достоверными. Вообще мне кажется, что интересны те Ваши стихи, где вы берёте какую-то конкретную “вещь”, мысль, импульс, – это всегда лучше, чем “голые”, обобщённые, абстрактные лирические рассуждения.

Больше всего мне понравилось стихотворение “Неграмотно, неопытно живу” – из газетной подборки. В нём Вам удалось найти наиболее точные, самые необходимые слова для передачи лирического чувства: “во что мне эта роскошь обойдётся” – очень хорошо. И ещё безусловная удача – второе стих-ние в “цветаевском” цикле (“Всю жизнь напролёт пролюбила не тех...” – Н.К.), – здесь тоже все слова верно найдены и нет ничего лишнего. А ещё привлекли внимание в стих-нии “Я в этом мире только случай...” строки “Шекспир подсказывает выход и Вертер подаёт пример”. Будьте здоровы,

с глубоким уважением, А.Кушнер

Любовь Чиркова

Встреча с поэтом. – Почта Поволжья, 10.10.2002

В Доме культуры и науки состоялось очередное занятие “Народной студии”. На этот раз оно было посвящено встрече с известной саратовской поэтессой Наталией Кравченко. Поводом послужил выход в Приволжском издательстве двух её новых книг “Фрагменты счастья” и “Чужая жизнь”. Наталия Кравченко познакомила присутствующих со своими новыми

поэтическими сборниками, высказала свои взгляды на современную литературу, поделилась секретами творческой кухни, ответила на многочисленные вопросы студийцев. Особенно сильное впечатление на всех произвело чтение автором поэмы “По ту сторону света”, написанной в жанре мистической фантастики. Два часа пролетели незаметно. Поэтессу окружили почитатели её творчества, выстроилась очередь за автографами.

Анна Гром

Публики было на 205 рублей... – Грани, 26.12.2002

В этом году вышли две новые книги Наталии Кравченко – “Чужая жизнь” и “Фрагменты счастья”. Они поражают не только высокой культурой поэтической речи, зрелостью и выстраданностью чувства, но и разнообразием тем. Например, из книги “Фрагменты счастья” мы можем узнать, что же составляет наше истинное счастье, что нужно для простого человеческого счастья.

Интересна и книга “Чужая жизнь”. Она состоит из 4-х разделов: “Поэты” (портреты поэтов разных стран и эпох), “Не моё время” (стихи о том чуждом в жизни нашего времени, что ранит и возмущает душу), “Чужая душа” (о любви к дальнему, “чужому”) и “Очаг” (о любви к ближним, о том, что даёт опору и тепло в этом чужом и холодном мире).

Ядвига Залеская (Елизавета Мартынова)

**Волчьи ягодки с Люциферова подворья. –
Земское обозрение, 26.11.2003**

Постельные сцены составляют значительную часть “стихотворного наследия” Н. Кравченко. Ради разнообразия Наталия Максимовна притворяется то изысканной куртизанкой, то неопытной отроковицей. Нравственные ценности в её стихах перевернуты с ног на голову. Кравченко не жалуется Богу и не упускает случая поиздеваться над ним. Но свято место пусто не бывает. Его занимают дьявол, картины тлена, ада: “кровавая роса”, “дождь-самоубийца”, “деревьё, как грешники в аду” и т.п.

“В их глотке буду ягодкою волчьей”, – предупреждает Н. Кравченко, но только нужны ли такие “волчьи ягодки” читателям?

Побеждаем и в Нью-Йорке

Саратовские вести, 18.02.2004

Одним из победителей 13-го конкурса поэзии 2003 года “Пушкинская лира” стала наша землячка Наталия Кравченко. Этот конкурс Международное общество пушкинистов ежегодно проводит в Нью-Йорке. Ныне в нём приняли участие авторы из многих стран, в том числе России, Америки, Германии, Латвии и т.д. В жюри, в частности, были известные

русские поэты Александр Межиров и Евгений Евтушенко. Наталия Кравченко заняла 2-е место.

Стихи победителей по условиям конкурса будут опубликованы в журналах “Арион” (Москва) и “Арзамас”, выходящем в Нью-Йорке на русском языке.

Роман Арбитман

Свобода слова и свобода окрика. – Саратов СП, 18.02.2004

Вместо того, чтобы поздравить Наталью Максимовну с недавним лауреатством на Международном поэтическом конкурсе “Пушкинская лира” (г. Нью-Йорк), неопиты из “Земобоза” выкатывают автору претензии за... цитирование в её стихах строк известных поэтов! Даже неловко напоминать гражданам о стихотворной “диффузии” – неотъемлемой части поэзии (Грибоедов включает в свой текст строку Державина, Пушкин – строку Грибоедова и т.д.) Или о знаменитой фразе Мандельштама: “Цитата есть цикада – немолкаемость ей свойственна”. Или о центонности – краеугольном камне литературы постмодерна...

Расклад, 19.02.2004

Оказывается, нет большего врага у талантливого саратовского поэта, чем другой саратовский поэт, считающий себя талантливым. Лауреат пушкинской премии Наталия Кравченко рассекретила “коллег”, которые, прикрываясь псевдонимами, дотошно разбирали строчки её стихов в ряде номеров “Земского обозрения”, приписывая их авторство то Мандельштаму, то Ахматовой. Вероятно, в университете преподаватели не объяснили тогда ещё юным дарованиям, что такое постмодернизм. Поэтому они до сих пор уверены, что постмодернизм и плагиат – одно и то же. Чтобы исправить эту досадную, калечащую тонкую душу оплошность, горе-критикам нужно всего-то испросить у знакомых вузовских педагогов разрешения присутствовать на лекциях по русской литературе XX века, и, глядишь, современный поэтический мир перестанет казаться таким “уворованным”.

Александр Кушнер

Из письма от 04.04.2004

Рад, что Вы стали лауреатом пушкинского конкурса! Конечно, если бы Вы жили в Москве, Вам было бы значительно легче: без литературной среды писать стихи очень трудно, почти невозможно. Я от всей души желаю Вам успеха и стойкости, наперекор отчаянию и тоске.

Из присланных Вами стихов отметил как лучшее – “О сирень четырёхстопная!..”. В нём Вы нашли точные слова, эту сирень видишь, это наиболее, мне кажется, оригинальное и неожиданное Ваше стихотворение. А ещё – “Я в этом мире только случай...”, “В альбоме старом дремлет

времечко...”, “Лес тонул в жужжании и гуле...”, “Комната”. ...Может быть, мои замечания Вам пригодятся в Вашей дальнейшей работе. Впрочем, “работа” – не вполне удачное слово, ведь стихи – это радость прежде всего, пусть её будет у Вас как можно больше!

Инна Лиснянская
Из письма от 02.05.2004

Дорогая Наталия Максимовна! Книгу Вашу прочла с большим интересом от корки до корки. (“Письмо в пустоту” – Н.К.) В стихах много горечи, одиночества, печали с просветлениями души. Вы пишете мне о близости наших душ. Действительно, все души стихотворцев уже тем близки, что вдуты в нас Господом. Желаю Вам вдохновения, стихов и прозы, и радостей жизни.

Ваша Инна

Татьяна Лисина
Поэзии серебряные струны. – Известия, 23.04.2004

Литературовед, писатель, поэт и журналист Наталия Кравченко имеет широкий круг слушателей и читателей. Десятый год, два раза в месяц, в помещении Областной научной библиотеки она проводит поэтические вечера, на которых рассказы о жизни и творчестве поэтов сопровождаются фонограммами их произведений, песен на их стихи в исполнении мастеров искусств, бардов, а также демонстрацией слайдов. Просветительское, познавательное значение этих мероприятий переоценить трудно.

Не каждому профессиональному филологу с высокими научными степенями и званиями удаётся в течение двух часов удержать внимание слушателей разных возрастов и профессий. Наталии Максимовне это удаётся легко. Ей помогают великолепное знание материала, способность наиболее удачно его выстроить, эмоционально изложить, хороший литературный язык, чёткая дикция, сценичная внешность. Неудивительно, что на каждом вечере Наталии Кравченко зал библиотеки, вмещающий триста-четыре человека, бывает практически полный.

...На своём заключительном творческом вечере Наталия Кравченко читала много новых стихов, отвечала на вопросы слушателей. Звучало много песен разных композиторов на стихи Наталии Кравченко в исполнении саратовских бардов: Светланы Лебедевой, Наталии Ласточкиной, Галины Рязановой. Очень тепло и живо аудитория приняла её песни “Моим слушателям”, “Воробышек”, “Школьная контрольная”, “Нет очевидца той меня” и другие.

Наталия Кравченко рассказала собравшимся о радостном для неё событии ушедшего 2003 года. Она стала лауреатом XIII Международного конкурса поэзии 2003 года “Пушкинская лира”, проходившего в Нью-Йорке. В конкурсе участвовало более трёхсот поэтов из многих стран, в том числе из

России, Германии, Америки, Чехии, Латвии и других государств. В престижное жюри конкурса входили известные всему миру поэты. Среди них были Евгений Евтушенко и Александр Межиров. Наталия Кравченко заняла второе место на конкурсе за стихотворение “Поэзия не знает дня рожденья...”, опубликованное в её последней книге “По горячим следам” (первое место досталось США, второе – России, третье – Германии). По условию конкурса стихи его победителей будут опубликованы в журналах “Арион” (Москва) и “Арзамас”, выходящем в Нью-Йорке на русском языке, а также экспонированы в музее Пушкина в США.

Елизавета Мартынова

На просторах русского вопроса. – Литературная Россия, 11.02.2005

Русский поэт (Николай Куракин – Н.К.) ничтоже сумняшеся обвинён не в чём-нибудь, а в пропаганде фашизма. Патриотизм расценивается Н.К. как “последнее прибежище негодяев”. Более того, он оказывается “их первым прибежищем”... Местная нигилистка отрицает возможность быть русскому человеку самим собой... Лекторша по русской литературе в блатном прикиде – такое не часто встретишь... Авторитет Пушкина для Н.К. ничего не значит. Хоть и читала она лекцию о нём: “Непричёсанный Пушкин”... Пушкинская любовь к родному и русскому для неё не существует. И она не может уважать эту любовь в других. И ненависть эта переносится на саму Россию. Кравченко пытается изобразить нашу страну как... гигантского мертвеца: “Страна больна смертельно. И преступно/ не видеть этих признаков в упор”. Мол, дайте умереть ей спокойно... Это тенденциозность. Причём, тенденциозность такого рода, которая не поддаётся переубедению. Впрочем, это было бы смешно, если бы я попыталась Н.К. как-то переубедить.

Александр Кушнер

Из письма от 12.01.2005

Только человек, имеющий прямое отношение к поэзии, а главное, так тонко чувствующий, понимающий её, может так войти в чужие стихи и понять главное в них... Как повезло Вашим слушателям в Саратове, что у них есть такой замечательный знаток поэзии, умный и вдумчивый её пропагандист. Мне дорого всё, что Вы сказали о моих стихах, и как досадно, что наши критики не обладают и десятой частью того понимания и той любви к стихам, которые дарованы Вам.

Желаю успеха всем другим Вашим вечерам – список замечательный!

Всего доброго, Ваш Александр Кушнер

СТИХИ

*Время твоё вышло.
Мочи его, ребя.
Он – никто.
Б. Рыжий*

*Пока не вышло. Но выходит
по капле, мерно, как вода,
куда-то в прорву преисподен,
не возвращаясь никогда.*

*Но как-то на восходе дымном
открылось в сумерках дождя:
оно навеки неизбывно
и не проходит, уходя.*

*Я смыслу тайному внимала.
Он говорил мне: нет его.
И сколько б жизнь ни отнимала –
отнять не в силах ничего.*

*Всем “дважды два”, всем уравнениям,
законам мёртвым вопреки,
оно извечно в нас волненьем
неиссякаемой реки.*

*Руки, протянутой над нею,
не оскудевшей в бездне дней...
“И чем случайней, тем вернее...”
И чем мгновенней – тем вечней.*

В альбоме старом дремлет времечко

х х х

В альбоме старом дремлет времечко
где каждым мигом дорожу.
Еще я маленькая девочка,
и за руку тебя держу.

Дрожу над этой фотографией,
где я пока еще твоя,
и где на фоне печки кафельной-
вся наша целая семья.

И в доме мирный был уклад еще,
еще церковей не пел хорал,
и незнакомо было кладбище:
никто еще не умирал.

х х х

А что ты сберегла от голубых огней,
И золотистых кос, и розовых улыбок?
И. Анненский

А что я сберегла от этих дней,
как меж страниц семейного альбома,
когда – кого на свете нет родней –
все жили под одною крышей дома?

Что сберегла от этого тепла
голландской печки, маминых ладоней,
от времени, не знающего зла,
и доброты, которой нет бездонней?

Растаял шарик в небе голубом...
Шагреневою кожей сердце сжалось.
Остался только маленький альбом,
а в нем тоска, раскаянье и жалость.

х х х

Мое коммунальное детство,
где кухня на двадцать семей,
где утро, несущее свет свой,
и в небо взлетающий змей,

прыгучий без усталости мячик,
дворовая дружба навек...
Куда же потом это прячет
усталый большой человек?

О ангелы, – крикну с тоскою,-
назад прокрутите кино!
Там что-то осталось такое,
Забытое мною давно...

Мне холодно. Хочется детства.
Какая блаженная бредь:
уткнуться, прижаться, согреться...
И тоже кого-то согреть.

х х х

Цветастое кресло, облезлый буфет
я не позабыла за давностью лет.
Кровать заменявший тяжелый сундук,
машинки отцовской полуночный стук.

Протаю в душе, продышу озерцо –
там мамы еще молодое лицо.
Я памяти печку стихами топлю,
чтоб жили там вечно, кого я люблю.

Засуну себя в огневое дупло –
и снова, как в детстве, мне будет тепло.

х х х

Лес тонул в жужжании и гуле,
пробовали горло соловьи.
Травки слабосильные тянули
вверх существования свои.

А туманы плыли в небе белом,
чтобы лечь на землю точно в срок.
Каждый занимался своим делом,
выполняя божеский урок.

Поднимались розовые зори,
волны тихо бились о корму.
И до человеческого горя
Не было им дела никому.

х х х

Горе наступает постепенно
медленно растущей волной.
Сгоряча не слышишь перемены,
что вошла и дышит за спиной.

После – как укол – воспоминанье...
Оттолкнешь – и новый, дик и рьян.
А потом – сплошной волной страданье,
И уже не чувствуешь острия.

х х х

Мне стыдно это рифмовать.
В груди как жало – боль и жалость.
Еще хранит тепло кровать,
где ты беспомощно лежала.

Как ты мне силилась сказать
слова, что я не понимала...
Последний взгляд в твои глаза,
И поцелуй, и крик мой «мама!»

Ночами звать и тосковать,
как в лагере когда-то летом...
Мне стыдно это рифмовать.
Чудовищно – пером – об этом...

х х х

Так я понял: ты дочь моя, а не мать,
Только надо крепче тебя обнять...

Б. Рыжий

Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил.

А. Блок

Девочка на доньшке тарелки.
Мама: «Ешь скорей, а то утонет!»
Ем захлеб, пока не станет мелко,
К девочке тяну свои ладони...

А теперь ты жалуешься, стонешь.
Обступили капельницы, грелки.
Я боюсь, боюсь, что ты утонешь
как та девочка на дне тарелки.

И, как суп тогда черпала ложкой,
я твои вычерпываю хвори.
Мама, потерпи еще немножко,
я спасу тебя из моря горя.

Ты теперь мне маленькая дочка.
Улыбнись, как девочка с тарелки...
В ту незабываемую ночь я
на часах остановила стрелки.

х х х

Не снимая, ношу твой халат,
словно так я к тебе буду ближе.
Мерных дней набегающих лад
никогда эту боль не залижет.

Ты – во всем, что я вижу вокруг.
В каждом звуке – щемящая нота,
в каждой вещи – тепло твоих рук,
след твоей неустанной заботы.

По утрам я спешу на балкон.
Там акация веточкой машет.
Я здороваюсь с нею тайком,
и не так уже день этот страшен.

Мама, я тебя слышу едва...
Что сказать ты в ту ночь мне хотела?
Я почти разобрала слова,
что листвою ты прошелестела.

х х х

Просила ты шампанского в тот день,
и это вовсе не было капризом, –
судьбе обрыдлой, вьевшейся беде
бросала ты последний дерзкий вызов.

Пила напиток праздных рандеву
через соломинку. Рука дрожала.
Соломинка держала на плаву,
но надломилась, но не удержала...

Шампанского я век бы не пила.
Как жить, тебе не нужной, бесполезной?
Ведь ты моей соломинкой была
над этой рот разинувшею бездной.

х х х

Никак не привыкну, никак не привыкну,
что больше к тебе никогда не приникну,
что больше твой голос уже не услышу.
Лишь ветер траву на могиле колышет.

Уже никогда мне не вымолвить «мама»,
не быть самой лучшей и маленькой самой.
Мне утро не в радость, мне солнце не светит.
Впервые одна я осталась на свете.

х х х

Ну как же мне отнять тебя, оттаять?
Ну не могу я там тебя оставить!
Я лестницу воздушную сплету

из слов твоих, из снов моих и слез,
и ты ее поймашь на лету.
Я это говорю почти всерьез.
По лестнице карабкаюсь я к Богу,
и, кажется, совсем еще немного...
Но в сторону относит ветер времени,
и тонешь ты опять в кромешной темени.

х х х

– Я маленькою видела тебя.
Какой был сон ужасный... Что он значит? –
Чуть свет звонит, мембрану теребя. –
Как ты, здорова ль, доченька? – И плачет.

Никто так не любил своих детей,
так слепо, безрассудно, так нелепо,
бездумно, без оглядки, без затей...
За что тебя мне ниспослало небо?

А мне все снится: набираю твой
я номер, чтоб сказать, что буду поздно,
мол, спи, не жди... А в трубке только вой
степного ветра, только холод звездный.

И просыпаюсь... Горло рвет тоска.
В ушах звучат твои немые речи.
Как от меня теперь ты далека.
Как долго ждать еще до нашей встречи.

х х х

С этим нежности грузом в груди тону,
мне не справиться с ним никак.
Стопудовая жалость идет ко дну
о двух вытянутых руках.

Покидая земной ненадежный кров,
я вливаюсь в речной поток,
осязая потусторонних миров
обжигающий холодок.

х х х

Карман Вселенной прохудится,
дыру во времени разъяв,
и я впорхну туда, как птица,
и прошлое вернется в явь.

Я проскользну в ушко иголки,
эпохи, вечности, судьбы,
прильнув щекой к твоей заколке.
Ах, если бы, ах, если бы...

х х х

Жизнь расколота, как льдина.
Стой и холодей.
Это непереводаемо
на язык людей.

х х х

Я задыхаюсь в боли и вине.
Нет слов таких ни в русском, ни на идиш.
Настало утро, а тебя в нем нет,
пришла весна, а ты ее не видишь.

Кому теперь нужна я на земле?
Все, что любила, съедено могилой,
всю жизнь жила и нежилась в тепле,
и вот стою в степи пустой и стылой.

Я выучусь стареть и умирать.
Теперь уже мне ничего не страшно.
И помнит только старая тетрадь
про наш с тобой счастливый день вчерашний.

х х х

Как волны, беды прибывают.
Один белеет только парус.
У счастья паузы бывают,
у горя не бывает пауз.

х х х

Перепутались черные даты,
знаки звездных загадочных числ,
и у слов, безмятежных когда-то,
так зловеще меняется смысл.

Словно дьявол какой надоумит,
только в «кровь» обращается «кров»,
в слове «замер» мне слышится «умер»,
а «сугроб» прочитаю как «гроб».

Кто ты есть – отпусти, не юродствуй,
чтоб судьбой, как словами играть?!
Но меняет «родство» на «сиротство»,
«свежесть утра» на «свежесть утрат».

х х х

Земля страданьями полна,
как погляжу окрест.
Деревья бьются в твердь окна,
луна несет свой крест.

Дождь не устанет, весь в слезах,
выстукивать стихи,
к которым люди в телесах
останутся глухи.

На миг рождается рассвет,
чтобы уйти во мглу.
И ветер воет что-то вслед,
хватая за полу.

В какой-то безысходный круг
силком вовлечено.
Все стонет, корчится от мук,
и все обречено.

х х х

В недоступное измерение
ты ушел, от земли отчалив.
И каким-то глубинным зрением
я гляжу на тебя, отчаясь.

В царстве сна, в государстве памяти
наши встречи с тобою грустны.
Давит на сердце тяжесть каменная,
мне не выбраться из-под груза.

Фотокарточка на надгробии.
Взгляд невыспавшийся, усталый...
Отраженье твое, подобие
на земле без тебя осталось.

х х х

Вся я родом из нашего общего прошлого,
из тебя выросшая, тобою проросшая.
Но глядят на меня небеса пустоглазо
и ни внять, ни унять одинокого гласа.

То, что было отброшено, запорошено –
то теперь всего ближе, всего дороже мне.
Как же жить мне с этой зияющей брешью,
не обнявшей, не выплакавшей, не обретшей?

Уж зима, как твои, мои волосы выбелила,
а не сгладилось, не забылось, не выболело.
И зависли бессильно меж бездной и высью
Запоздалых стихов безответные письма.

* * *

Всё у бережливой Мнемозины*
на заметке, на карандаше.
Там, в её загробном магазине,
есть всё то, что надобно душе.

А быть может, нет вестей оттуда –
от тупой беспамятности лба?
Оттого, что мы не верим в чудо?
Амплитуда вечности слаба?

Не доходят письма гробовые,
по пути рассеиваясь в дым...
Оттого ль, что мёртвым мы, живые,
не нужны, как мёртвые – живым?

*Мнемозина – богиня памяти

* * *

Я напрасно жду на остановке –
мой трамвай навек ушёл в депо.
А быть может, сдан на перековку...
С временем давно проигран спор.

Время чумовое, сумасшедшее...
Но оно живое, не прошедшее!

Памяти танталовые муки:
кажется, что руку протяну...
Видишь ли меня в волнах разлуки,
напряжённо шарящей по дну?

Ищущей тебя, но не обрящей,
где ты прежний, тёплый, настоящий.

* * *

Где ты? Где воды Стиксовы
твой охраняют покой?
Там, где тебя настигну я
и припаду щекой?

Или вот это жалящее,
запёкшееся в груди –
и есть твоё обиталище
последнее на пути?

Твоё запасное вместилище,
твой выход на этот свет?
Но знаю душою стынущей,
что утешения нет.

* * *

Я, как наледью, скована памятью...
И встаёт из глубин снеговых,
запорошенный пылью и заметью,
город мёртвых и город живых.

Здесь пространство и время распорото,
Ариаднина тянется вязь.
Меж реальным и призрачным городом
существует незримая связь.

Я кружу над своими утратами...
Мир единый распался на два.
Словно в оба кармана запрятаны
одного пиджака рукава.

Каждый смертный, коль любит и помнит он,
здесь отыщет родные сердца.
Жизнь и смерть – это смежные комнаты
одного ледяного дворца.

Все свободно тут перемещаются,
ведь для душ не бывает границ.
А туман всё плотнее сгущается,
растворив очертания птиц.

* * *

У декабря твои виски седые –
проигранные с временем бои.
А у небес – глаза немолодые,
похожие до боли на твои.

Не отыскать мне там тебя, как Герде...
Кого молить, как в сказке: "отдыши!"?
Никто не знает день грядущей смерти.
Я знаю смертный день своей души.

Он наступил, когда необратимо
ты растворился в тёмной глубине.
Твоя могила здесь конспиративна.
Тебя там нет. Ты погребён во мне.

А жизнь души осталась там, за кромкой
другого века, в дымке голубой,
и обернулась мукою негромкой,
воспоминаньем пестующей боль.

Она сейчас всего лишь оболочка,
как будто я сама себе лишь снюсь,
и жизнь – отсрочка, только проволочка
до той поры, пока соединюсь

с тобой. С самой собой. Не нужен повод
отныне, чтобы плакать в тишине.
И – сквозь ночей спускающийся полог
"Прощай, прощай и помни обо мне!"

* * *

Этот месяц, полный тьмы,
полный холода и горя,
где с тобой расстались мы,
тишины не переспоря...

Как живётся там тебе,
за седыми небесами,
в муке ль, радости, мольбе –
сны мои расскажут сами.

Так же там ты одинок ль,
как при жизни был со мною?
В перевёрнутый бинокль
вижу давнее, родное.

И, с тобою говоря,
вижу то ли явь, то ль сны я:
смерти мёртвые моря,
чёрный ход в миры иные...

Боль родства пронзит иглой,
но не сшить, как ни пыталась,
то, что разорвало мглой,
что, как связь времён, распалось.

Шрам от месяца кривой –
словно рана ножевая.
Не проходит ничего.
Ничего не заживает.

* * *

Память, закоулки обнажи.
Ты пришёл... В своё садишься кресло.
Просишь наточить тебе ножи.
Всё, как было. Всё опять воскресло.

Вот тебе я супу налила,
вот пирог разрежала на части...
Как же я тогда не поняла,
что вот это-то и было счастье!

Между нами пролегли века.
Ты остался навсегда в двадцатом,
в уголке гранитного бруска,
датами серебряными сжатым.

Хорошо наточены ножи.
Не заметишь – как уже в крови ты...
Ты не выжил. Я не в силах жить.
Счёт ноль-ноль. И мы с тобою квиты.

Я с тобою заживо живу,
призрак твой пою своею кровью.
И люблю во сне и наяву
самую бессмертную любовью.

* * *

Ты умирал на пике декабря.
Зачем мне Бог, не знавший милосердья?
И это сердце, бившееся зря,
раз не могла отнять тебя у смерти?

Часы спешили, учащая бег,
и обещая обновление судеб.
А снег летел в грядущее, в тот век,
где нас с тобой вдвоём уже не будет.

Любить в прошедшем времени нельзя.
Как примириться с этою дырою,
в которую всё сыпется, скользя,
лишь только человек глаза откроет?!

Застыли стрелки в замкнутом кругу.
Как будто навсегда заледенели.
Я это помнить больше не могу,
блуждая здесь среди людей, теней ли.

Глазами звёзд глядишь над головой.
Стволы деревьев – как чей-то мёртвый остов.
И сквозь меня могильного травой
растут слова, пронизывая остро.

* * *

Как не хватает мне отца,
его фигуры и лица,
его видавшей виды шляпы
и слова ласкового "папа".
Парки расплетается клубок.
Тычется комочек в левый бок.
Этой нити вечно виться, длиться.
Прежних дней струится вереница...
"Снег, идущий миллионы лет,"
миллионы раз мне скажет: "нет".
Тысячи безжизненных снежинок
мне напомнят тысячи ошибок,
что поправить нам уже нельзя.
Я иду по памяти, скользя.
Но сквозь лёд крошечной мерзлоты
вновь упрямо проступаешь ты,
как черты на мокром фотоснимке,
где с тобой лицом к лицу в обнимку.
Ты, облетевший календарь,
тем днём опять меня ударь,
когда лежал, объятый тьмой,
глухонемой, уже не мой...
Задую памяти свечу.
Я больше помнить не хочу!
Но опять встаёт свеченье дней,
где ты чем далече, тем родней...
И, сердце стиснувши в горсти,
хочу хоть что-нибудь спасти
из людоедской пасти времени
и унести с собой из темени.
Ты превратился в скрип дверной,
в стук веток, ветра вой ночной,
в звезды вечерней слабый свет,
в далёкий чей-то силуэт,
в скупую горсточку кутьи,
в свои заметки и статьи,
в волну на волжском берегу,
в сиротство, жалость и тоску...
Январь мне с каждым годом всё страшней.
А ты мне всё нужнее и нужней.
Известие о смерти лживо.
Ты жив. Всё помнится так живо.
Всё, что во мне тоскует и грустит
и что скорее жизнь мою скостит.

Я приду к тебе подземным ходом,
приплыву по Волге пароходом.
Подземный ход –
под зимний лёд,
под сотни дней,
замёрзших вод.
Вчерашний снег,
вчерашний день,
что зазвенит – едва задень,
и отзовется эхом вдаль
с ума сошедший календарь.

* * *

Настоящее – ненастоящее.
Только прошлое есть и есмь.
Не устану в себе выращивать
бесполезную эту песнь.

Где ты в этом пространстве голом?
Отразись хоть как, отзовись!
Этот век без тебя неполон.
Эта жизнь без тебя – не жизнь.

* * *

Опять между нами беседа ведётся немая.
Теперь ты навеки в моей растворился крови.
Ведь смерть ничего у нас, в сущности, не отнимает,
она сообщает лишь новую форму любви.

А равно и жизни... И слышу твой голос я снова,
срывая с души наложенные временем швы.
"Мне кажется, – Пушкин писал Александре Смирновой,
что мёртвые могут внушать свои мысли живым".

Не знаю, как выразить это понятно и точно...
Что смерть? Это просто привычное миру ЧП.
К тебе припадая, впадаю я в первоисточник.
Тебя навещая, я лишь возвращаюсь к себе.

Как поздно я выучилась любить

* * *

Как поздно я выучилась любить.
Не вылечиться, не умереть, не забыть.
И кто разрешит безбилетный проезд
в страну из руин и разверзшихся бездн?

Как ни затыкай эти дыры платком –
повсюду нездешним несёт холодком.
Устала писать я стихи в никуда,
которые ты не прочтёшь никогда.

Устала я кликать на том берегу
и каждое лыко ставить в строку.
Я так не могу. И не так не могу.
Беззвучен мой голос, и сердце в снегу.

* * *

И горечь бытия, владеющую нами...

Гербрандт Бредеро, XVII век

Бездомный мир за окнами пуржит.
Остекленевший взгляд домов напротив.
Как холодно без родственной души.
Бродяга-ветер за порогом бродит.

Никто не прилетит на лампы свет.
Привычно грудь сжимает боль тупая.
Я вырываюсь из контекста лет,
я болевой порог переступаю...

Как тайна, вдруг открытая душе,
в озноб бросает страшная разгадка.
Холодных звёзд рассыпано драже.
Беспомощно нема моя тетрадка.

* * *

То, что отцом и мамой
было – в глубокой мгле.
"Было" – одно из самых
страшных слов на земле.

Не даст утолить мне жажду
подземная эта стезя –
поток, в который не дважды –
однажды войти нельзя.

И хочется мне завести
над чудищем вековым.
Из этой реки не выйти
не только сухим – живым.

Не так уж видно стара я,
что смерть меня не берёт.
Тоска без конца и края,
на тысячу лет вперёд.

* * *

Вчера ещё в глаза глядел...
М. Цветаева
Глядит туда, где нету нас.
Л. Миллер

Начинаю вживаться в смерть.
Отовсюду знаки и зовы.
Бог не хочет в глаза смотреть.
Нынче жаворонки все – совы.

Всё косится куда-то вбок.
Не пойму его тайных мыслей.
Всё лишь пробует на зубок,
словно кошка играет с мышью.

* * *

Приучила душу жить за окнами,
на ветру, на холоде, в степи,
скомканною, связанною, согнутою,
псом, сидящим в будке на цепи.

А она, больная, бесполезная,
рвётся прочь, измаявшись в плену,
и грызёт бессильно цепь железную,
и ночами воет на луну.

* * *

Только одно непреложно: тоска,
та, что изъедена снами.
Жизнь – это шахматная доска.
Кто-то играет нами.

Шах пораженья, обиды, беды –
в чьей-то всевидящей воле.
Все наши путанные ходы –
только бегство от боли.

* * *

Хоть всё, что есть, поставь на кон,
все нити жизни свей,
но не перехитрить закон
тебе вовек, Орфей.

Деревьев-церберов конвой
не проведёт туда,
и профиль лунный восковой
в ответ ни нет, ни да.

Рассвет поднимет белый флаг
как знак, что всё, он пас,
чтоб тот, кто вечен и всеблаг,
не мучил больше нас.

* * *

Когда экзамен жизни жалкой
тебе держать уж силы нет –
швыряет смерть свою шпаргалку,
даря спасительный ответ.

* * *

*Нужно быть китайским болванчиком,
чтоб сейчас говорить не о смерти.
В.Ходасевич*

Жизнь – свободное время от смерти.
Пронестись ли в едином броске,
повседневной отдать круговерти
иль скормить свою душу тоске?

Вот и день наконец этот чёрный.
Что накоплено в сводах годов?
Лес опавший стоит обречённо,
и к разлуке, и к смерти готов.

Слёз уж нет, их проплакала осень,
и глаза небосвода сухи.
И, по правде сказать, так ли очень
вы нужны были, эти стихи?

Паутины холодной и склизкой
Ариаднина тянется нить.
Лист трепещет предсмертной запиской:
"Улетаю... Прощу не винить".

Ночь натялит колпак свой дурашный,
затрезвонит луны бубенец...
Вот и всё. Это вовсе не страшно.
Просто смерть умерла наконец.

* * *

За окошком ветра вой.
Мне опять не спится.
Бьется в окна головой
вяз-самоубийца.

Капли падают в тиши,
разлетясь на части,
но не так, как от души
бьют стекло на счастье.

Струи поднебесных вод –
острые, как спицы.
Сам себя пустил в расход
дождь-самоубийца.

Как струна, натянут нерв.
Лунный диск нецелен.
Обоюдоострый серп
на меня нацелен.

* * *

Душное, топкое слово "тоска"
мушкою тонко жужжит у виска.
Ряской болотной пахнуло во мгле.
Как я неплотно стою на земле.

* * *

Я разучилась чувствовать, как все.
Случилось что-то странное со мною.
Передают: осадки в полосе,
а я, как речка, высохла от зноя.

На юг и север, на добро и зло,
на да и нет весь мир сейчас расколот.
По "Маяку" сказали, что тепло,
а у меня внутри могильный холод.

* * *

В реанимации лежала,
не зная толком, почему,
какая хворь мне угрожала,
необъяснимая уму.

Братва больничная сбегалась
на крик мой дикий по ночам.
Заведующая ругалась,
а я не знала, что врачам

ответить... Разрастались сплетни.
Смотрели, как сквозь окуляр.
Дивились из палат соседних
на уникальный экземпляр.

Больница в стены мне стучала.
Никто не в силах был понять.
А то душа моя кричала,
и крик тот было не унять.

* * *

Больничной зимы негашёная известь
не выбелит – выжжет тебя добела.
О Боже, спаси мою душу и вывездь!
Высокого света прошу, не тепла.

* * *

Настигает безумный амок.
Разрушается жизни замок.
И встаёт впереди загробье:
Зазеркалье, подтекст, подобье.

Я изранена чёрным роком.
Я украдена ненароком
той страной, где навеки выплусь.
Не живу, а лишь снюсь и числюсь.

* * *

Берёза, вяз, акация, каштан,
от чёрных бездн дарящие отсрочку...
Какой порядок был им Богом дан –
в таком порядке и сложились в строчку.

Деревья – заменители утрат.
Мне что-то в них мерещится живое.
Отец и мама, бабушка и брат
о чём-то тихо шепчут мне листвою.

И, наполняясь бредом или сном,
я возвращаюсь в прошлое, в начало...
Когда вы появились под окном?
Я раньше вас совсем не замечала.

Какой от вас целительный покой.
Балкон плащом укрыла тень густая.
И мне, чтобы достать до вас рукой,
всего лишь шага в бездну не хватает.

* * *

Упругие прутья – деревьев усердья.
В тот свет устремившиеся бессмертья.
Природы артерии, жилы, предсердья.
Спасенье. Везенье. Судьбы милосердье.

* * *

Спешу я к родной могилке
исхоженною тропой.
Тринадцатая развилка
от будки сторожевой.

Кладбищенская ограда –
награда за всё в тиши.
Ты – нищенская отрада,
отрава моей души.

Не кладбище, а кладбище.
Размеренные ряды.
Пристанище и жилище,
убежище от беды.

Очищу литьё от сажи,
надгробие приберу.
Как будто лицо поглажу
и лоб тебе оботру.

И мертвецу надо ласки,
как дереву и птенцу.
Анютины светят глазки.
Они тебе так к лицу.

А небо с чутьём вселенским
заплакало вдруг навзрыд
над кладбищем Воскресенским,
где брат мой родной зарыт.

* * *

Осклабилось кладбище, рвы разевая.
Его ублажает здесь нежность живая.
Холодную землю укроет венки –
и мёртвый уже не вполне одинок.

Пушистое, тёплое слово "Елшанка".
Измученных путников жизни лежанка.
Нас всё убывает, а их большинство,
и смерть здесь справляет своё торжество.

На мраморе белом – две чёрные даты.
"Спасибо, что был в моей жизни когда-то."
Здесь каждый хоть кем-то посмертно любим.
"Навеки с тобой". "Не забудем. Скорбим".

* * *

Моя бабка, донская казачка, красотка, гордячка,
из тюрьмы убежала в Саратов с другим уже мужем.
А мой дед крепко запил и умер от белой горячки
оттого, что ни ей и ни детям остался не нужен.

Лишь одна фотокарточка в доме моём уцелела:
бабка с длинной косой, дед – усатый и молодцеватый.
И другого я деда застать на земле не успела –
был расстрелян – как все, ни за что – в Сталинграде в тридцатых.

Вот такая моя неизвестная мне родословная –
не дворянская – бедная, нищая и уголовная.

От рожденья дано мне судьбой дорогое наследство:
дарованья, грехи и ошибки, хранимые в генах,
что пускали ростки незаметные с раннего детства
и отмщаются в жизни моей до седьмого колена.

Не грущу о своей родовой непричастности к знати,
о фамильных гербах – принадлежности князей из грязи,
а о том лишь жалею, что не довелось мне узнать их,
что оборваны нити родные и кровные связи.

Всё родство – из намёков, догадок, из снов одиночества
и из щепок, летевших над лесом, порубленным дочиста.

* * *

Мне город Шахты видится сквозь дни,
откуда родом пол моей родни,
где я сама ни разу не была.
Всё поглотила медленная мгла.
Писала письма бабушка куме:
"Купили холодильник мы к зиме."
Каракулей старательная вязь.
Звено в цепи... Времени цепная связь
оборвалась под тяжестью потерь.
Как не хватает мне её теперь.
Далёкие золовки, кумовья,
моя необретённая семья!
Где та моя вода на киселе,
бывавшая всегда навеселе?
Я ваш Иван, не помнящий родства,
стеснявшийся смешного кумовства,
опомнившийся в диком шалаше,

тоскующий по родственной душе.
На редких фото – смутные черты,
знакомые мне профили и рты.
Где вы теперь? Повсюду и нигде.
Расходитесь кругами по воде...
Кисельные мне снятся берега,
неузнанные речки и луга.
Уносят вдаль два белые крыла
печаль по тем, кого не обрела.

* * *

Нет очевидцев той меня,
и, значит, не было на свете
в ночи сгоревшего огня,
что плачет, уходя навеки.

И, значит, не было в миру
той девочки босой, румяной,
гонявшей обруч по двору,
рыдавшей над письмом Татьяны.

Ни старой печки, ни плетня,
ни сказочной дремучей чаши,
раз нет свидетелей меня
тогдашней, прежней, настоящей.

Цепь предков, за руки держась,
Уходит в тёмный студень ночи,
времен распавшаяся связь
отъединенность мне пророчит.

Протаиваю толщу льда
и жадно собираю крохи:
мгновенья, месяцы, года,
десятилетия, эпохи...

Законам физики сродни
тот, что открылся мне, как ларчик:
чем дальше прошлого огни –
тем приближённее и ярче.

Любовь, босая сирота,
блуждает во вселенной зыбкой.
В углах обугленного рта
застыла вечная улыбка.

Она бредёт во мраке дней,
дрожа от холода и глада.
Подайте милостыню ей.
Она и крохам будет рада.

* * *

Ждётся Божьего ответа,
как быть нам тут, живым.
Но отвечает небо
молчаньем гробовым.

Сиреневые сумерки
окутывают лес.
"Мы живы, мы не умерли", –
мне слышится с небес.

* * *

Старые, беспомощные, мёртвые,
вы ко мне приходите во сне.
Лица ваши, в памяти не стёртые,
с каждым годом ближе и ясней.

В лунном свете, мягком и рассеянном,
а не в беспощадном свете дня,
вижу ваши я черты осенние,
греясь возле них, как у огня.

Только вы поймёте, как устала я
без родных и близких, без семьи.
Светят в небе зори запоздалые.
Милые вы, мёртвые мои.

Они ушли в глухую небыль.
И глаз их слеп, и рот их нем.
А надо мною только небо,
неумолимое ко всем.

* * *

Разгадывать звёздный ребус,
подслушивать Божий глас...
Мне кажется, что всё небо –
из чьих-то любимых глаз.

* * *

Отрада моя и растрava.
Я вся – лишь любви оправа.
Растрескавшаяся рама,
где вместо картины – рана.

* * *

Когда умру, куда я дену вас,
любимые, которых больше нету?
Останьтесь, схоронитесь про запас,
как за щекой серебряной монетой.

Я кровью и слезами вас пою
и кутаю в тепло воспоминаний.
И живы вы, пока о вас пою,
пока душа не скроется в тумане.

Как вам надёжно в памяти дворцах,
уютно в детской сладких сновидений.
Я об одном молила бы Творца:
– Когда приплёшь Ты и за мной гонца
оставь в живых возлюбленные тени.

* * *

Холодно, холодно жить на ветру.
Птаха лесная,
скоро ли, скоро ли тоже умру?
Скоро узнаю.

* * *

Когда-нибудь накроет прессом,
жизнь обломает, как сирень,
и я уйду порожним рейсом
за даль просторов и морей.

Заря размашистою кровью
небесный тиснет некролог,
а дождь заплачет в изголовье,
смягчив его казённый слог.

* * *

На клеёнке блик играет,
щёки жаром обдаёт.
Это свечка догорает,
а не солнышко встаёт.

Стук в окошко поминутный.
Сердце, стихни, наконец!
Это ветер бесприютный,
а не умерший отец.

Кто так, воя и стеная,
сводит медленно с ума?
Это вьюга ледяная,
а не смерть ещё сама.

* * *

Мне прошлое дышит в затылок.
А я обернулась – и вот
на долгие годы застыла.
Не я, а оно лишь живёт.

Скорее очнуться, проснуться...
Но смерч настигает, грозя.
Нельзя мне к нему обернуться.
И не обернуться нельзя.

* * *

Моя душа распята, проклята –
сплошная ахиллесова пята.
Но вновь назад к самой себе тянусь.
Окаменею, коль не обернусь.

Я в прошлое, как в шахту, опущусь.
Я из него уже не возвращусь.
Невозвращенкой среди вас живу.
Но только это держит на плаву.

* * *

Пусть этот ад ночной тоски
со мной до гробовой доски.
Я не отдам свой ад родной
за холод крыльев за спиной.

Мне хорошо в моём аду,
в моём горячечном бреде.
Я кровью жил своих кормлю
там тех, кого навек люблю.

Всё то, что мучает и жжёт,
и этим душу бережёт –
тупым бесчувственным годам
я не отдам, я не отдам.

* * *

Страдаю, мучусь – не играю,
и жалуясь, и слёзы лью.
Я не живу, а умираю,
спасая этим жизнь свою.

* * *

Насытился, Господь? Теперь доволен?
Ты получил сполна, чего хотел,
напоминая звоном колоколен
о душах милых, отнятых у тел.

Глазами мёртвых небосвод унизан.
Лишь подойдёт вечерняя пора –
и вновь кому-то приговор подписан
небрежным звёздным росчерком пера.

Всевышний души в невод неба ловит.
Ужасный рок вовек необорим.
Не знать, не знать, что нам ещё готовит
грядущий день, не ведать, что творим...

* * *

Тень Офелии храня,
по волнам плывёт веночек,
за собою вдаль маня...
На часах двенадцать дня.
На душе двенадцать ночи.

Лунный скальпель взрежет ночь,
Млечный путь звездами брызнет.
Но уже нельзя помочь –
как ни мучь и ни морочь –
этой обречённой жизни.

Неподвижен лунный зрак.
Небо вызвездилось колко.
За окном густеет мрак.
До свиданья, друг и враг.
Расстаёмся ненадолго.

* * *

Как завести мне свой волчок,
чтоб он жужжал и жил,
когда б уже застыл зрачок
и кровь ушла из жил?

Как превзойти в звучанье нот
себя саму суметь,
когда окончится завод
и обыграет смерть?

Как скорость наивысших сфер
задать своей юле,
чтобы хоть две минуты сверх
крутиться на земле?

* * *

*Гори полоской той зари,
вокруг которой всё застыло.*

И. Анненский

Восхода нищая полоска
на телесах ночных небес.
На фоне мертвенного воска
она горит грешно и броско,
как будто шил её сам бес.

Земля забыта и заклята,
над ней пропета лития.
Но как надежда или плата –
заката яркая заплатка
на рваной ране бытия.

* * *

Не люблю календарные праздники.
Я сама их умею творить.
И не нужен мне повод для радости,
для того, чтоб кормить и дарить.

Жизнь танцует заученный танец свой,
но превыше всего естество.
Что от мира и сердца останется,
если вычесть любовь и родство?

Только то, от чего не излечит нас
никакая, к чертям, красота:
одиночество нечеловечества,
межпланетная пустота.

Комната

*Комната. Скрипящая доска.
Четырёхугольная тоска.*

А.Кушнер

*Не выходи из комнаты,
не совершай ошибки.*

И.Бродский

Прочь от калитки моей,

родина.

И.Кабыш

Моё логово-угол, где стены хранят от ушибов,
моя камера пыток, что пуще неволи мила.
Я не выйду из комнаты, не совершу я ошибок.
Мне она никогда не была ни скучна, ни мала.

Мой источник пиров среди чумы, мой очаг сновидений,
моя комната-трюм, где заброшена дел дребедень,
где, скрипя половицами, бродят любимые тени,
где по чувствам, а не по часам судишь прожитый день.

Здесь в окошко, как в лупу, всё видишь яснее и проще.
Мир пушистым комочком свернулся у ног без затей.
Я не выйду из круга любви на продутую площадь,
из сердечного света – на холод планеты людей.

Как сберечь отчий дом в этой немилосердной отчизне,
где неистовый смерч наши гнёзда готов разорить?
В этом мире из комнаты выйти – что выйти из жизни.
Дверь открыть или окна – что жилы себе отворить.

* * *

Высокое – и земное,
далёкое – и родное,
что было когда-то со мною,
уже не вернётся вновь.

Растаяли все химеры,
всё белое стало серым,
ушла и надежда, и вера.
Осталась одна любовь.

Я – спутница беспутная твоя

* * *

Всё перепуталось, и сладко повторять...

О. Мандельштам

Я – спутница беспутная твоя,
путана для семейного житья.
Я – путаница слов своих и слёз,
и всех твоих морщинок и волос.

То под ногами, то в твоих руках
я путаюсь, в пространстве и веках
и в хаосе вселенской темноты
я путаю порой, где я, где ты.

Не знают и великие умы,
где я и ты переплетётся в мы,
связавши в узел наше естество,
так что лишь смерть распутает его.

Весна

Конец зимы, начало лета
соединились в слове этом,
крича на тысячу ладов.
И, как соски, набухли почки –
природы болевые точки –
в предощущении родов.

Праматерь вздохов на скамейке,
весна, смешны твои ремейки,
но вновь, как в юности, клюю
на эту старую наживку,
твою прекрасную ошибку,
вечнозелёное "люблю".

* * *

Сбылось всё то, что пела флейта,
о чём пророчил соловей.
Как сладко быть впервые чьей-то,
не просто чьей-то, а твоей!

Как радостно поведать миру,
что в нём я больше не одна.
Как будто в тёмную квартиру
плеснуло солнцем из окна!

И кажется, что светом этим,
что вечность нам даёт взаймы,
я расплачусь за полстолетья
по векселям тоски и тьмы.

* * *

После бродяжьей маеты,
дежурного ключа
хочу берложьей теплоты,
надёжного плеча.

Что перстень для одной, как перст,
парча и кружева?
Мне греют грудь мужская шерсть,
пушистые слова.

Судьбы безжалостно битьё,
и лишь одно спасло:
души звериное чутьё,
домашнее тепло.

* * *

Свой мир лелея и лепя,
жила в себе и из себя.
Теперь, устав от пустоты,
моя душа – не я, а ты.

* * *

Не отличала ночь от дня,
шипов от розы,
когда любила про себя
сквозь зубы, слёзы.

Теперь же всё наоборот.
Разбив корыто,
во все глаза, во весь свой рот
люблю открыто.

* * *

Не знала ни стыда, ни горя
любовь без права и венца.
И ты встречал меня у моря
в рубашке цвета огурца.

И счастьем не было конца.

* * *

Лица улиц, троллейбусов морды,
тишина берегов одичалых,
воронья оголтелые орды –
всё вокруг это слово кричало.

Всё об этом – солнце, и звёзды...
И казались вторичными речи.
Мы вдыхали ворованный воздух
нашей тайной горячечной встречи.

Жизнь летела беспмятно в осень,
золотыми фонтанами била.
А слова не нужны были вовсе –
всё за нас уже сказано было.

* * *

Это первее первой любви,
проще всего на свете, –
то, что растворено в крови,
то, что нам с неба светит.

Так я давно хотела любить –
прежде, чем было Слово,
раньше всего, что явилось Быть,
до Рождества Христова.

* * *

Снегу кружить и кружить
в небе безбрежно.
Хочется набело жить,
бережно, нежно.

Чтобы лепить и лепить
замки из снега,
чтобы любить и любить
с века до века.

Наши две жизни слепи
в общий комочек...
Сердце сорвалось с цепи –
мчит что есть мочи.

И нарастает, как ком,
и вырастает...
Тронешь его языком –
сразу растает.

* * *

Это так удивительно,
это так притягательно:
ты – моё существительное,
я – твоё прилагательное.

Суду не подлежащее,
пером неопишное:
я – твоё подлежащее.
Ты – сказуемое.

* * *

Ты стал моим берегом и оберегом.
Вхожу в твою душу, как в тёплую реку,
и чувствую почву и твёрдое дно –
всё то, без чего устоять не дано.

Жила без любви, без надежды и веры,
и в пропасть манили ночные химеры.
Но что мне теперь даже самая смерть,
когда под ногами небесная твердь?

Ты был мне обещан и Богом, и Чёртом,
давно позабытым в веках звездочётом.
Так выпали карты и звёзды легли –
идти нам одною стезёю земли.

* * *

Всего прочнее на земле печаль...

А.Ахматова

Всё повторимо: почки и грачи.
Ни снег, ни дождь – ничто не брызжет новью.
Единственен лишь голос твой в ночи,
что шепчет моё имя в изголовье.

Я заключу тебя в объятья строк.
Ты будешь в них, как в шлеме и кольчуге.
А если вдруг судьба взведёт курок –
прочней мечта окажется о чуде.

* * *

Мы мечтаем о высоком
и стремимся вдаль за ним.
Ну, а что всегда под боком –
то не ценим, не храним.

Закружило в вихре вальса
в ооруче любимых рук...
Пробил час. Сцепились пальцы.
На тебе замкнулся круг.

Отсверкали фейерверки.
Мне уже не быть одной,
мерить мир иною меркой –
самой верной и родной.

В тесноте, да не в обиде,
вплоть до самого конца
мчать в карете по орбите
обручального кольца.

* * *

Как бы вы вашу душу в страстях ни метелили,
как бы ваша мечта ни витала воздушно –
настоящее счастье всегда незатейливо:
тесный столик на кухне, ночник над подушкой.

Проторёнными тропами жизнь устилается.
Не беда, коль не хватит в ней соли и перца.
Поцелуи чужих на губах могут плавиться,
но они никогда не доходят до сердца.

Настоящее счастье – простое, но прочное,
познаётся бок о бок, в обнимку, впритирку.
Ты один настоящий, все бывшие, прочие –
только бледные оттиски через копирку.

* * *

Я споткнусь на каком-то слогe –
ты продолжишь за мною фразу.
Два медведя в одной берлоге,
мы совпали с тобой по фазам.

Словно выплатили налоги* –
беспробудочно мы сонливы.
Два медведя в одной берлоге –
невелик же мир у счастливых!

Вопиюще не одиноки
в закутке домашнего круга,
два медведя в одной берлоге –
мы немислимы друг без друга.

* * *

Ты мне такое счастье принёс,
такого нету нигде.
Оно не просто однажды сбылось –
сбывается каждый день.

Оно родимее всех отчизн,
стариннее всех эпох.
Такой, должно быть, бывает жизнь,
когда в неё входит Бог.

Оно свечою украсит тьму,
укутает, как в меха.
И нет никакого дела ему
до моего стиха.

* * *

Под аркой радуги, в кольце обнявших рук
так ярки радости, не ведавшие мук.
И жизнь домашняя, ручная, как зверёк...
Любовь вчерашняя, я слышу твой упрёк.

* "Заплати налоги – и спи спокойно" – реклама на ТВ

Как мы под ливнями бежали под плащом,
как счастье пили мы и жаждали ещё...
Осенним золотом закрыло вышину.
Прости мне, молодость, покой и тишину.

* * *

Наш ужин скуден и нехитр:
овсянка, сэ. Сырок, кефир.
О, трапеза и затрапеза!
Да, далеко же нам до Креза.

* * *

Не Венера, не Афродита.
Выгляжу серо, гляжу сердито.

Не в шелках, не на каблуках...
Но есть что-то во мне, что нетленно.
Я – синица в твоих руках
с журавлиной душою пленной.

* * *

Сквозь тернии и шипы
мой путь к тебе был упорен.
Из жизни, лихой судьбы
тебя извлекла, как корень.

Прошёл первоцветья шок –
то всё шелуха, полова.
Ты – старый мой корешок.
Ты жизни моей основа.

* * *

Мы так близки, что наши имена
через дефис писать готовы руки.
Отдельно нет тебя и нет меня.
Матрёшки мы, живущие друг в друге.

Любовь – игла в Кашеевом яйце.
Дрожа над ней, живу лишь при условии
тепла в глазах и нежности в лице,
и ласки рук, сплетённых в изголовье.

"Мой милый, – говорю тебе, – мой свет",
к груди твоей прижавшись что есть силы,
чтоб между нами ни в один просвет
не просочился холодок могилы.

Единство наше как объятье длить
без передышки и без промежутка...
Нас и дефис не в силах разделить.
От этого и радостно, и жутко.

* * *

Облетели листья, потемнели дни.
Вот мы и остались на земле одни.
Я тебя жалею. Я тебя лелею.
Я тобой болею. Боже, сохрани.

* * *

О счастье знать, что ты со мной –
читаешь книжку за стеной.

Час пройдёт – позови.
По тебе я уже стосковалась.
Кроме счастья любви –
ничего у меня не осталось.

Колыбельная

Этой песни колыбельной
я не знаю слов.
Звон венчальный, стон метельный,
лепет сладких снов,

гул за стенкою ремонтный,
тиканье в тиши –
всё сливается в дремотной
музыке души.

Я прижму тебя, как сына,
стану напевать.
Пусть плывёт, как бригантина,
старая кровать.

Пусть текут года, как реки,
ровной чередой.
Спи, сомкнув устало веки,
мальчик мой седой.

* * *

Мы как будто плывём и плывём по реке.
Сонно вод колыханье.
Так, рукою в руке, и щекою к щеке,
и дыханье к дыханью

мы плывём вдалеке от безумных вестей.
Наши сны – как новелла.
И качает, как двух беззащитных детей,
нас кровать-каравелла.

А река далека, а река широка,
сонно вод колыханье...
На соседней подушке родная щека
и родное дыханье.

* * *

К тебе летит мой каждый час и сон.
Мы плавно переходим в сны друг друга.
Наш общий сон нас держит, невесом,
с надёжностью спасательного круга.

* * *

Отлетают котурны возвышенных фраз.
Остаётся лишь голая суть без прикрас.
И в душе проясняется, как негатив,
этой песенки полузабытый мотив.

То, что было во сне, нелюдимо, во мне,
то теперь наяву, воедино, вдвойне.
Наши тропы сплелись, замыкая концы.
Мы, как ноты, слились – двойники, близнецы.

Я узнала теперь, как планета звучит
так, как сердце ночами о сердце стучит.
Я узнала, как выглядит абрис души –
как лицо, что вошло надо мною в тиши.

Я люблю тебя, милый, – горячечным ртом...
Я давно позабыла, что будет потом.
Я – очаг твой, который согреет ладонь,
твой сосудик, в котором мерцает огонь.

* * *

Я помню все слова, что ты мне говорил.
Они занесены на тайные скрижали.
Когда-то озарив и щедро одарив,
лежат на дне души, с годами дорожая.

Сокровищами душ – засушенных цветов,
записочек твоих – не устаю владеть я.
Я помню все места на картах городов,
куда, сбежав от всех, мы прятались, как дети.

Моя душа с тобой в надежде и в беде,
завися от тебя, блажит иль занеможет.
А если нет тебя – то нет её нигде.
Ведь без тебя она существовать не может.

Чураясь пышных фраз, всего, что напоказ,
моя любовь проста, мудра и старомодна.
Так впору мне она, просторна и легка,
как в тапочке мне в ней, разношенной, свободно.

Но до сих пор пьянит твоей любви вино.
И ты моим теплом до доньшка просвечен.
Держусь за это дно, последнее звено,
связавшее меня с присутствием на свете.

* * *

Декарта мысль ценю живую,
но я иначе назову:
"Любима – значит, существую".
Люблю – и, значит, я живу.

* * *

Всё ищем мы заоблачную твердь,
когда земля качнётся под ногами
соломинку, опору, посох, жердь
иль мостик радуги меж берегами.

Луна висит дамокловым мечом.
Мир мельтешит, обманываясь, маясь.
Но небо подпираешь ты плечом,
к которому я тесно прижимаюсь.

* * *

Вечный зазор, не пускающий в грудь.
Словно забор, преграждающий путь.

Словно одежда, что хочется снять,
чтоб не мешала друг друга обнять.

Словно пейзаж, отделённый стеклом.
Тянутся руки, но снова – облом.

Жизнь, разделённая вечной межой:
близкий – и дальний, родной – и чужой.

* * *

Мы – две системы, формы бытия,
с химически чужим составом крови.
Два полюса полярных: ты и я,
ужившиеся под единой кровлей.

Но для слепой провидицы-любви
мы – два магнита, слившиеся рядом.
Рождают электричество в крови
всегда разноимённые заряды.

* * *

Тетрадь, акацию в окне,
тепло участливого взгляда –
вот всё, что в жизни нужно мне,
а больше ничего не надо.

И что там будет впереди –
не бередить себя вопросом.
.. И – ямку на твоей груди,
куда уткнушь холодным носом.

* * *

Нам вечность не грозит.
Без нимба, ореола
лицо твоё вблизи
отчетливо и голо.

Всё меньше виражей
в смертельном нашем ралли.
Всё больше миражей
развеяно ветрами.

И деревянный чёрт –
смешное воплощенье
твоих семитских черт –
потутился в смущенье.

Уж сколько лет и зим
висит он в изголовье,
твоим зрачком косит
с укором и любовью.

Меняются черты,
мелькают дни и даты,
но вечно моё Ты,
незыблемо и свято.

Ты выхватил меня
из пустоты вселенной,
из тьмы небытия,
из водной дрожи пенной.

Обвёл защитный круг.
Лежу, как в колыбели,
в тепле сплетённых рук,
в твоём горячем теле.

Храни меня, храни,
мой ангел с ликом чёрта!
Мне кажется, что нимб
венчает лоб твой чёткий.

И отступают прочь
кладбищенские плиты.
И дольше века – ночь,
где наши лица слиты.

Не от мира сего, а от мира всего

* * *

Не от мира сего, а от мира всего
я живу, не прося у него ничего.

Мне поехать по миру, увы, не пришлось,
но в душе не держу ни обиду, ни злость.

Лишь бы мне по нему не пойти бы с сумой,
постепенно сливаясь с вселенскою тьмой.

* * *

Что сказать мне о жизни?

Что оказалась длинной.

И.Бродский

Жизнь оказалась мне не по росту.
Длинная. Я утонула в ней просто.
Не по фигуре. Не по нутру.
Не по карману. Не ко двору.

Не понимаю, как в ней живу я?
Смётана наспех, на нитку живую.
Не ожидали в аврале шитья,
что в ней так долго жить буду я.

Жизнь обносилась. Я обнищала.
Но не пищала, хоть и трещало,
где было тонко – с краю, по шву...
Не понимаю, как я живу.

* * *

*За столько жить мой ум хотел,
что сам я жить забыл.*

И.Анненский

А телеграммы радости скупы,
но боль щедр и горечь хлебосольна...
Не отыскав нигде своей тропы,
не стала я ни Сольвейг, ни Ассолью.

Я так от этой жизни далека,
где всё прекрасно: лица и одежда.
Грызёт меня всеядная тоска.
Соломинкой прикинулась надежда.

Я жизнь свою сумела не прожить
по-своему, как я того хотела.
Зачем сейчас всё это ворошить?
Душа достигла своего предела.

Жить не сумела? Чем-нибудь другим
займись... Как небо – предвечерним светом...
Решай загадку замогильной зги,
что нам была предложена поэтом.

Уходят дни, неудержимо мчатся,
летят, как пух от ветра дуновенья.
Проходит жизнь. Особенно сейчас.
Особенно вот в это вот мгновенье.

Утро

Ночь опомнилась. Мгла рассеялась.
Тихо таяла без следа,
но на что-то ещё надеялась
растревоженная звезда.

В полусонном противостоянии
заворочался шар земной.
И растаяло расстояние
между завтра и мной.

Утро нежится в царстве грёзовом.
Так прозрачен его намёк.
Вздых о розовом, чём-то бросовом ...
Раздувается уголёк.

Амба. Лопнула мира ампула,
в ночь просачивая зарю.
Утро – будущего преамбула.
Как сомнамбула, я смотрю:

светом жиденьким озаримые,
в небе – контуры тополей...
Неприметное, неповторимое
утро жизни моей.

Не мудрее – старее вечера,
пробивающееся средь гардин,
увеличивающее перечень
невозможного впереди.

Я пытаюсь понять, на что оно –
утро, вылупленное из сна,
в мир, где ныне мне уготовано
место зрителя у окна.

* * *

Страны и дома добровольный пленник,
смотрю в окно на сцену бытия,
на тот спектакль, что без копейки денег
даёт сегодня улица моя.

Идёт спектакль, бесхитростный и чистый,
на пяточке, лучами залитом.
И все кругом – народные артисты,
играют жизнь, не ведая о том.

Маэстро, что на этот раз даёте?
Какой у вас сегодня псевдоним?
Вселенная в оконном переплёте.
Смотрю в окно: а что же там за ним?

* * *

Дворник Павел Николаич
чисто по двору метёт.
Кот урчит, собака лает –
он и ухом не ведёт.

Поглощён своим уменьем,
вычищает всё дотла:
до песчинки, до каменьев,
догола и добела.

Чтобы стало всё безликим,
он метёт всё злей и злей,
не оставив ни улики,
ни былинки на земле.

Где ты, где ты, зелень лета?
Всё под корень, ё-моё.
Как он чисто делал это
дело чёрное своё!

Пот утёр рукою тучной,
сел устало на скамью...
Дворник, – я шепчу беззвучно, –
душу вымети мою!

Чтобы не ветвились чувства,
не клубилась пена дней,
чтобы стало чисто, пусто,
просто в памяти моей.

* * *

Пестрят и рвутся тут и там
клочки по всей округе:
"Сниму", "куплю", "продам", "отдам
в заботливые руки",

"вишнёвый сад", "добротный дом",
"собаку" или "дачу"...
А в сущности, все об одном
толкуют, пишут, плачут.

Как будто бы один блокнот,
разодранный на части,
взывает, жаждет – не банкнот –
тепла, уюта, счастья!

Бумаги рваные листки
трепещут, словно флаги –
куски надежды и тоски,
промокшие от влаги.

* * *

Скажи мне, кто не одиноко?
В души пустынном помещенье
ютится нежности щенок,
скуля тихонько о прощенье.

Непоправимо одинок
всяк в этом мире однобоком.
Щенок – заплаканный комок –
всё тычется под левый бок.
Кому-нибудь он выйдет боком.

* * *

Диск телефонный. Терпенья зенит.
Ждешь, задыхаясь, подмоги, совета.
А механический голос бубнит:
"Ждите ответа. Ждите ответа."

Что нам готовит слепая судьба?
Как избежать нищеты и навета?
К Богу, рыдая, взывает толпа.
Ждите ответа. Ждите ответа.

Рвётся письмо к той, кого целовал,
даль побеждая всесилием света.
В ящике чёрный зияет провал.
Ждите ответа. Ждите ответа.

Всё безответно: волна и листва.
Словно на отклик наложено вето.
Снова на ветер бросаю слова.
Ждите ответа. Ждите ответа.

Анкета

Перед ним лежал листок анкеты.
Взгляд его беспомощно блуждал.
Что тут думать, право, над ответом?
Не был. Не имел. Не состоял.

Вспоминал по гамбургскому счёту
всё, что было, мучило и жглось.
А в висках стучало обречённо:
"Не пришлось. Не вышло. Не сбылось".

Нищий

Стоит он, молящий о чуде.
Глаза источают беду.
– Подайте, пожалуйста, люди,
на водку, на хлеб и еду!

И тянет ладонь через силу,
и тупо взирает вокруг.
Да кто же подаст тебе, милый?
Россия – в лесу этих рук.

Я еду в троллейбусе тёплом.
Луч солнца играет в окне.
Но бьётся, колотится в стёкла:
"Подайте, подайте и мне!

Подайте мне прежние годы,
уплывшие в вечную ночь.
Подайте надежды, свободы,
подайте тоску превозмочь!

Подайте опоры, гарантий,
спасенья от избранных каст,
подайте, подайте, подайте..."
Никто. Ничего. Не подаст.

* * *

А если грязь и низость — только мука...

И. Анненский

Мне пишет зэк, что всё находит отклик
в его душе в прочитанных стихах.
И просит он издателя: не мог ли
прислать им книг, погрязнувшим в грехах?

Казалось бы, что общего меж нами?
Не зарекайся – мудрость говорит.
Никто не вправе первым бросить камень.
У каждого в шкафу скелет зарыт.

Мир – камера огромного размера.
Подглядывает Бог в глазок луны.
Он знает: все достойны высшей меры, –
читая наши помыслы и сны.

"Наш коллектив и я, Иван Молочко,
пишу не столь из отдалённых мест..."
Так что в них суть и что лишь оболочка?
Душа взревёт, как поглядишь окрест.

"И время драгоценное досуга
мы на стихи затрачиваем все..."
"А если грязь и низость – только
по где-то там сияющей красе?"

* * *

Когда цветов лежит копна,
весь стол мой погребя,
я чувствую себя как на
похоронах себя.

Я всех цветов не обниму,
смущением горю.
"Спасибо, что Вы, ну к чему,
не надо", – говорю.

Но что-то вот уже не так
во мне и на земле.
Вся комната моя в цветах.
Душа моя в тепле.

Гляжу на хрупкость красоты,
на стеблей свежий срез,
и чувствую, как те цветы
нужны мне позарез.

* * *

О сирень четырёхстопная!
О языческий мой пир!
В её свежесть пышно-сдобную
я впиваюсь, как вампир.

Лепесточек пятый прячется,
чтоб не съели дураки.
И дарит мне это счастьеце
кисть сиреневой руки.

Ах, цветочное пророчество!
Как наивен род людской.
Вдруг пахнуло одиночеством
и грядущею тоской.

* * *

В душе моей утешенной
покой и тишина.
Там угол занавешенный,
где я всегда одна.

Ночное это таинство
ничей не видит взор.
Из слов и снов сплетается
причудливый узор.

Как мина, сердце тикает,
окутывает мгла...
Скажи мне что-то тихое
для этого угла.

* * *

Меня не обманывали деревья,
книг хэппи энды, вещие сны.
Зверьё не обманывало доверья,
птиц предсказанья были верны.

Ни гриб в лесу, ни ромашка-лютик,
ни родники, что манили пить.
А обманывали только люди,
которых я пыталась любить.

* * *

"Живём лишь дважды", – Вы сказали,
как записали на скрижали.
И мне открылось: так бывает.
Две жизни каждый проживает.

Две жизни... Разве это дело?
Одна – душе, другая – телу.
И обе мучают виной.
Две жизни – это ни одной.

* * *

Надену старый свитер чёрный,
до самых глаз надвину ворот,
чтобы о том, что в сердце сорно,
черно, угарно и минорно,
вовек не догадался ворог.
Который был когда-то дорог.

* * *

Под луной ничто не вечно.
Светится таинственно
неба сумрачное нечто
в обрамленье лиственныйном.

А внизу, под сенью крова –
дней труды и подвиги.
Бурый лист, как туз червовый,
мне слетает под ноги.

Ночь земле судьбу пророчит,
карты звёзд рассыпала...
Жизнь живёшь не ту, что хочешь,
а какая выпала.

* * *

Пройти по лезвию ножа,
свою судьбу в руках держа...
А жизнь суёт свои лекала.
Не слышать бы её вокала!

Жить без лекал и без клише,
чтоб было хорошо душе,
чтоб ей достичь того накала,
какого издавна алкала.

* * *

Следит недреманное око,
чтоб радость вечно вышла боком,
чтобы даров не перепало,
чтоб зла не показалось мало.

* * *

Потёмки собственной души,
её бесхитростные тайны...
Мы все для Бога малыши.
Всевышний, радости всем дай нам!

Никто не знает, что потом –
мир вечный там или увечный.
И мы глотаем жадным ртом
напиток солнечный и млечный.

Хоть чуточку ослабь зажим.
Пускай течёт, меняя числа,
гипотетическая жизнь
на грани вымысла и смысла.

* * *

Нам выстудил душу вселенский сквозняк,
паренье в пустых облаках.
А хочется в жизни надёжный верняк,
чтоб прочно стоять на ногах.

И мы отгораживаемся стеной,
чтоб в дом не прокрался тать.
И мы поворачиваемся спиной
к тому, что зовёт летать.

Но самозащита – опасная вещь,
это палка о двух концах.
Ведь мы и от того, кто велик и вещ,
отгораживаемся в сердцах.

И ты, не бросая своей бороны,
на душу не вешай замок.
Никто ведь не знает, с какой стороны
придёт к нам однажды Бог.

* * *

Бог – ничто. Струя песка.
Мои сны, моя тоска,
то, что шепчет нам листва
и рисует синева,
что воркуют сизари,
что болит у нас внутри.
Он – полуночная мгла,
волны света и тепла,
то, что нам в потоке дней
всего ближе и родней.
Он – изнанка наших слов,
содержимое голов,
наши страхи и мечты.
Бог – всё то, что я и ты.

* * *

Се человек: слабак, байбак...
Не помнит он, откуда родом.
И крики кошек, лай собак
милы, как голоса природы.

Кто может так ещё согреть?
Кто так умеет душу слышать?
Зверье не даст нам озвереть,
поможет вылечить и выжить.

Глядят глаза зверей, моля,
и верят, что на свете зла нет.
О беспризорная земля
без глаза отчего и длани!

* * *

Разрыв тотальный, повсеместный
между земным и меж небесным.
Ну как его преодолеть?
Неподконтрольна, неподвластна
нам жизнь, и оттого прекрасна.
И пряники её, и плеть.

* * *

*Извлеки драгоценное из ничтожного,
и будешь как Мои уста.*

Книга пророка Иеремии

Выклёвываю радость
из грязи бытия.
Выплёвываю гадость,
а сладость вся моя.

Как ядра из ореха
вылуцивать стремлюсь.
Горошинкою смеха
из горя подавлюсь.

* * *

В глазу окна – соринка месяца.
Слезами даль заволокло.
О сколько грязи в жизни месится,
а всё-таки в душе светло.

Пусть всё заполонили гадины –
хранит его грудная клетка.
И свету ровно столько дадено,
чтобы не околеть.

* * *

Между землёй и небом,
меж тем, что была – и небыль,
меж прошлым и грядущим,
меж суетным и сущим,
меж тем, что тьма, и тем, что свет,
меж тем, что да, и тем, что нет,
между змеёй и птахой,
между тюрьмой и плахой,
меж беспорочной кельей
и приворотным зельем,
меж бесом и распятым,
спасеньем и проклятьем,
меж адом и меж раем
всю жизнь мы выбираем.

* * *

Земля или небо?
Не то и не сё.
И правду, и небыль —
мне хочется всё!

В земле увязаеть,
а небо – вдали,
и не осязаеть
его ты с земли.

Орёл или решка?
Звезда или хлеб?
Судьба – как насмешка,
и выбор – нелеп.

Пытаться не надо
понять никогда.
Ни неба, ни ада.
Ни нет и ни да.

* * *

Аллея улицы Лесной.
Там палисадничек резной,
и травы по утрам в росе...
Она короткая совсем.

Каких-то метров тут пятьсот.
И нет особых тут красот,
и нет домов солидных.
Я здесь гуляю с Линдой.

Она так неказисто-хороша,
питаю к этой улочке я нежность.
Так выглядела бы моя душа,
когда б она имела тоже внешность.

Аллея улицы Лесной,
зимою, летом и весной
куда ведёт она меня,
вдруг обрываясь у плетня?

* * *

Лишённая леса и поля душа,
взращённая в городе сроду...
Чтоб как-то её освежить, отдышать,
сижусь на балконе, читая, пища,
всего в двух шагах от природы.

Вдыхаю озон всю грудью и ртом,
привыкшим к бензину и саже.
Листва надо мною раскрылась зонтом.
Как Линда веселым пушистым хвостом,
акация веткою машет.

Мол, наше вам с кисточкой... Благодарю
и тоже в ответ ей киваю.
Природа, тебе этот стих я дарю,
как знак, что дышу, и пишу, и творю,
пока ещё тоже живая.

* * *

Я ёжик, плывущий в тумане
в потоке вселенской реки.
Мне звёзды мигают и манят,
мелькают вдали маяки.

— Плыви, ни о чём не печалась, —
журчит мне речная вода, —
доверчиво в волнах качаясь,
без мысли зачем и куда.

Но только не спрашивай: "Кто я?"
Не пробуй, какое здесь дно.
Не стоит, всё это пустое,
нам этого знать не дано.

И лунный начищенный грошик
сияет мне издалека:
плыви по течению, ёжик,
и жизнь твоя будет легка.

* * *

*Если тебе дадут линованную бумагу
пиши поперёк.*

Хуан Рамон Хименес

Поперёк политических прописей,
старых догм и житейских клише,
толкований недавнего прошлого
и всего, что обрыдло душе,
я пишу свою личную летопись,
отвергая чужие дары,
поперёк всех линеек и клеточек,
в нарушение правил игры.

* * *

Гомеопатические души,
карлики засушенных страстей,
клуши, фарисеи и чинуши,
в уши позаткнувшие беруши,
новостей боясь и скоростей.

Так вот от восхода до заката,
пряча язычки змеиных жал,
по земле ползут они, как гады,
пескариной мудростью богаты:
"жил – дрожал и умирал – дрожал".

* * *

Я в мир себя бросаю, как перчатку,
как в пасть его оскаленную – кость.
Вся жизнь моя – сплошная опечатка,
и строчки в этой книге – вкривь и вкось.

Печали запечатаю печатью,
но снова песня рот мне раздерёт.
Я в мир себя бросаю, как перчатку,
которую никто не подберет.

* * *

Один не воин в поле,
а я кругом одна.
О сколько надо воли,
когда кругом стена!

Всё тонет в фарисействе.
Как жизнь мне перейти,
когда в людском семействе
ни с кем не по пути?

* * *

Чем дальше в жизни – тем трудней
держаться между двух огней.
Мой путь отнюдь не так уж прост:
меж двух огней – лучей и звезд –
с утра до вечера борьба,
чтоб убивать в себе раба.
И стрелы с двух сторон летят,
и ангелы отводят взгляд,
хотя им сверху там видней,
как выжить мне меж двух огней.
Меж этих и других врагов
веду я счёт своих шагов,
по полю минному идя,
на оба фронта бой ведя.
Но всё труднее мне идти,
всё холоднее на пути
во тьме ночей и в свете дней
меж двух огней, меж двух огней.

И вгрызается в горло нам век – бультерьер

* * *

И вгрызается в горло нам век-бультерьер...
Мир издохнет от кровопотерь.
Дрессировщик – хозяин его – изувер,
им науськан безжалостный зверь.

Этот пёс кровожаднее, чем волкодав.
Ему жизнь человека – обед.
Как же нам, не приемлющим волчий устав,
одолеть тебя, век-людоед?

* * *

Время! Я тебя миную.
М.Цветаева
Времена не выбирают.
А.Кушнер

Я ошиблась веком и страной.
Время! Ты проходишь стороной.
Но во мне лучей твоих рентгены,
кровь твоя в моих струится венах,
грудь мою грызёт твоя тоска,
мысль твоя стучит в моих висках.
Время, ты всё злей, радиоактивней,
но тебя никак не обойти мне.
Я птенец из твоего гнезда.
И моя в тебе есть борозда.
Ты и боль, и быль моя, и небыль.
Я в тебе между землёй и небом.
Время, я тебя хватаю ртом.
Видишь, человек твой за бортом?!

* * *

Внутри иначе жизнь течёт.
Обратен времени отсчёт.

Снаружи – шум, здесь – тишина.
Снаружи – мир, а здесь – война,

с самой собой, с самой собой
я здесь веду незримый бой.

Здесь – Ренессанс, а там – распад.
Живу я с веком невпопад.

* * *

Душа моя, пожалуйста, нишкни!
Не жалуйся, хозяева – они.
Уткнись в пальто, молчи себе в кулак.
Ты здесь никто, и звать тебя никак.

* * *

На аккуратных рытвинах аллея –
замедленные взрывы тополей.
Сегодня даже мирная земля
напоминает минные поля.

* * *

Трёхцветный флаг нам счастья не принёс,
как кошка – по народному поверью.
Народ скулит и воет, точно пёс
пред наглухо захлопнутою дверью.

О мученик оболганных идей,
обманутая жертва обольщенья!
Ты – уценённый кем-то сорт людей,
изъятый навсегда из обращенья.

Пока ещё наркоз любви, стихов,
родного дома действует привычно,
и командорской поступью верхов
не омрачён мой слух аполитичный,

но средь чумы самоубийствен пир.
И Муромец однажды слазит с печки...
Вдыхаю жизни нашатырный спирт,
чтобы очнуться от блаженной спячки.

Первомай 2004-го

В дождливой мороси и хмари
тонул нелепый Первомай.
Я шла с тяжёлой сумкой к маме.
(Уже не шёл туда трамвай).

Мой взор, рассеянный и сонный,
скользил поверх молодых племён,
а мне навстречу шли колонны,
как будто из других времён.

О сколько их! Куда их гонят?
Что демонстрировать, кому,
когда в стране, где все – изгой,
власть, неподвластная уму?

Стояли ряженные в гриме –
Маркс-Энгельс-Ленин-Брежнев. Бред.
Мне Энгельс подмигнул игриво,
портвейном, кажется, согрет.

Толпа живым анахронизмом
флажки сжимала в кулаках.
Воскресший призрак коммунизма
маячил где-то в облаках.

Зонты – щитами – непогоде
и в ногу – мерные шажки.
А я всегда рвалась к свободе
сквозь эти красные флажки!

Всё, чем когда-то дорожили,
оплакивают небеса...
"Как хорошо мы плохо жили", –
однажды Рыжий написал.

Земля, тебе не отвертеться,
как этот шарик надувной
парит над юностью и детством.
Наивный шарик наш земной...

Тот день, душой не принимаем,
остался в памяти ларце
улыбкой хмурой Первоя
на века сумрачном лице.

* * *

Она летит, свободная от пут...
Привет, пичуга, как тебя зовут?
Дай перышко от твоего пера,
Чтобы легко писалось мне с утра!

Летит, как пух, что от Эола уст,
и мир уже не беспросветно пуст.
Пернатая надежда в небесах
летит и мир качает на весах.

В стране, где все привыкли падать ниц,
жить обучаюсь по законам птиц.
И никогда – хоть плачу и бешусь –
от птичьих прав своих не откажусь.

* * *

Что в этом мире нас удерживает? Случай.
Не властны над душой ни пряник и ни плеть.
Нет имени тому, что продолжает мучить
без права на покой, без шанса уцелеть.

Наш обморок с тобой, наш хмель, анестезия
позволит не смотреть, забыться и забыть,
как под откос летит безумная Россия,
без права умереть, без шанса разлюбить.

* * *

Россия, сфинкс, отрада и отрава,
шестое чувство на шестой земли.
Простор печален и зловеща правда,
сокрытая в таинственной дали.

Одной небесной нас питаешь манной,
но как влечет и в горе, и в гульбе
к твоей угарной, гибельной, обманной,
узорной и запутанной судьбе.

Как ни чуди, ни злобствуй и ни бедствуй,
но будут сотни лет сводить с ума
так долго к нам идущий звёздный свет твой
и вечно неразгаданная тьма.

В новой России

Здесь ворон ворону выклёвывает глаз,
и сатана в Кремле при сём у них арбитром.
Здесь прошлый мир уже отходит, помолясь,
а чувства добрые здесь пробуждают литром.

На крутость кротость беспечально заменя,
страна в который раз кафтан латает Тришкин.
Народ безмолвствует и мрёт день ото дня,
зато растут кругом и крепнут нуворишки.

Здесь каждый первый, кто не вор – изгой и «жид»
Так пожинаем мы плоды своих новаций.
Здесь время словно сумасшедшее бежит –
ему так страшно было б с нами оставаться...

* * *

Мир расслоился с недавних пор.
Никак не возьму я в толк:
кто-то здесь вол, а кто-то – вор,
а кто-то и вовсе – волк.

Нутро людское сквозь слой корост
сумей разглядеть нагим.
Это – народ, а то – нарост.
Не путай одно с другим.

* * *

Страна больна смертельно. И преступно
не видеть этих признаков в упор.
Спокойно спать, покуда запах трупный
сочиться будет из щелей и пор.

Её кровавой рвоты от отравы
гнилья помоек, радиовранья
не видеть, воспевая лишь дубравы,
берёзок шум да трели соловья.

Не любите Россию вы. Ну разве
любовь это – в её последний миг
хвалить красу, не замечая язвы,
и славить глас, не разумея крик?!

* * *

Нет, не былью, а антиутопией
сделать сказку русским довелось.
Господи, ужель твои подобиа
нашу жизнь кроили вкривь и вкось?

Ставить антипамятники впору им.
Скотный двор растёт, весь мир объяв.
Слаб Замятин, отдыхает Оруэлл
перед тем, что выдумала явь.

* * *

Что творят эти взрослые дети?!
Нет планеты у нас запасной.
Полушария мозга в ответе
за беспомощный шарик земной.

Мы в единой находимся связке –
каждый волен столкнуть иль спасти.
Все повязаны кровью, в замазке,
никому от суда не уйти.

Не молиться бы нам, не поститься,
а спасать этот шарик родной.
Не отмазаться, не откреститься
от того, что зовётся страной.

* * *

Не для меня газетного вранья
подножный корм и рапортов победность.
Не для меня и сытные края.
О Родина, о нищая моя,
я жизнь свою подам тебе на бедность.

Съешь и её... Как Блок, скрывая грусть,
в душе тая бесстрашного бесёнка,
писал, – судить его я не берусь, –
что слопала, гугнивая, мол, Русь,
"как чушка, своего ты поросёнка."

Другой Руси на свете не найти.
На место в сердце нету претендента.
Но с этой мне страной не по пути.
И в ногу мне не хочется идти
с лукавым и гугнявым президентом.

* * *

Как там у Вильяма Шекспира?
"Театр – мир", а город наш –
лишь небольшой кусочек мира,
и в нём такой же ералаш.

Здесь каждый день – всё та же пьеса,
где будни, козни, зло и грусть.
И смотрим мы без интереса
на то, что знаем наизусть.

Саратову

Столица самозванная Поволжья,
родная грибоедовская глушь,
погрязшая в осеннем бездорожье
среди неизбывных миргородских луж,

где вотчина бессмертных Хлестаковых,
где громоздится памятников дичь, –
ну что в тебе, замызганном, такого,
чтоб не стремиться никуда опричь?

Всё лето без воды. Но рядом Волга.
Зимой без света. Но была б свеча.
Нелепого непрошенного долга
слепая тяга в сердце горяча.

Подруга пишет: "Нет прекрасней края.
Давайте к нам! Сжигайте корабли! "
Но не влечёт меня обитель рая
уютно ностальгировать вдали.

Там всё стерильно: ни врага, ни друга.
Там море мёртво и душа мертва.
А здесь дворы с родимую разрухой
и круговой порукою родства.

И пусть ни злато, ни ума палата
не озарит помоечного дна,
но здесь душа с рождения крылата
и босоногой радостью полна.

Я часть твоих окраин и колдобин,
твоих оркестров уличных струна.
Ты мною утрамбован и удобрен.
Я в воздухе твоём растворена.

Стыжусь тебя порой, как сын стыдится
алкоголичку-мать, бомжа-отца.
Но не стираю горькие страницы,
они во мне пребудут до конца.

И заморозки здесь, и отморозки,
за выживанье вечные бои,
но светятся застенчиво берёзки
и за руки цепляются мои.

* * *

Я это постигла не сразу,
но выучилась, как азам,
не разуму верить, не фразам,
а только глазам и слезам.

Откройся их чистым истокам,
как будто на слово "Сезам".
Москва, ты черства и жестока.
В Саратове верят слезам.

Я осень люблю и в природе, и в людях

* * *

Я осень люблю и в природе, и в людях,
когда успокоятся жаркие страсти,
когда никого не ревнуют, не судят,
и яркое солнце глаза уж не застит.

На кроткие лица гляжу умилённо,
их юными, дерзкими, детскими помня.
А жёлтые листья красивей зелёных,
и лунная ночь поэтичнее полдня.

* * *

Душа не стареет, как мудрые книги,
но освобождается, как от одежд.
И, словно цветы, осыпаются миги
разлук и свиданий, обид и надежд.

Всё то, что когда-то держало под током,
сгорело, спалив за собою мосты.
Душа, приближаясь к исконным истокам,
с себя понемногу снимает пласты.

Как листья роняет последние роша,
спадает всё то, что влекло в суете.
Всё к старости станет яснее и проще,
приблизится к истине и чистоте.

*Могучая евангельская старость,
и тот горчайший Гефсиманский вздох...*

А.Ахматова

Счастье юных, тёмное, неверное,
как остро и жадно его жало.
Счастье старых, мирное и мерное,
знает лишь прощение и жалость.

Старость чем-то схожа с тихой пристанью,
где земное всё уже свершилось,
и она глядит светло и пристально
на волны бушующую живость.

Да, вот так нести своё страдание,
величаво, просто и смиренно,
в ожиданьи скорого свидания
с тем, что незнакомо жизни брэнной.

* * *

У оборванных лепестков ромашек,
у листков оторванных календарей
что-то общее – от смертельных промашек
облетевших лесов, обмелевших морей.

* * *

Как слёзы по лицу, струятся годы,
покуда их источник не иссяк.
В них что-то от бессмертия природы,
когда из праха воскресает всяк

для жизни новой... Листья желтолицы,
напоминая лик немолодой.

Как я сейчас хотела б с ними слиться,
совпав с травой, небом и водой.

По жизни плыть, не зная сроду броду,
вдыхая этот воздух голубой,
сливаясь с равнодушною природой,
с землёй, с народом... только не с толпой.

* * *

Осень в душе и очки на носу –
я уж давно их по жизни несу.
Что ещё к этому могут добавить
морось и темень в девятом часу?

Всё-таки лета ушедшего жаль.
Мёртвые листья уносятся вдаль.
Катятся годы и хмурятся своды,
и умножают печаль на печаль.

* * *

Засыпаю я, засыпаю...
Как песком себя засыпаю.
Всё вокруг невесомо, зыбко.
Мир качается, словно зыбка.

о свиданья. Спокойной ночи,
сегодня устала очень.
Засыпаю я, засыпаю.
Душу в снах золотых купаю...

* * *

Во сне не лгут самой себе.
Бесстрашно растравляя ранку
души, наперекор судьбе
живёшь наотмашь, наизнанку.

И всё в тебе, что было тьмой,
застыло, съёжилось, закисло –
всё скажется себе самой
в обход и разума, и смысла.

Там только музыка и свет,
там только облако и птица,
там то, чего навеки нет,
что может только мне присниться.

* * *

В душе есть озеро из сна,
куда не прикоснулась скверна,
где отстоялась глубина,
и в ней всё холодно и верно.

– Но как же быть тогда с людьми?
Ведь если быть всегда холодной,
не будет счастья и любви,
и жизнь окажется бесплодной.

А если будешь не одна,
на страсть не налагая вето,
то замутилась тишина...
Как совместить в себе всё это?

– Не надо это совмещать.
Два мира есть непримиримых.
И надо в каждом жить, прощать,
в себе души не укрощать –
по-разному, неповторимо.

* * *

Листья – письма осени прощальные.
Я люблю слова её печальные.
Ведь на них не нужно отвечать.
Всё уже свершилось паче чаянья.
На земле лежит печать молчания,
круглая нечёткая печать.

* * *

Снега слякотные шмотья,
листьев рваные отрепья.
Мира нищие лохмотья
на бессребренном отребье.

О, очей очарованье,
как твой облик изувечен!
...И такой она бывает,
осень жизни человеческой.

* * *

Мокрая осень
стучится в окно.
Золото с охрой
облезли давно.
Слышится тонко:
"Пусти, обогрей!"
Осень с котомкой
стоит у дверей.

Пусто в котомке.
Дыряво бельё.
Где же, мотовка,
богатство твоё?
Осень-растратчица,
где же твой дом?
Плачется, плачется
ей за окном...

Линда

Одинокая собака.
Потерялась? Бросили?
Глазки – словно два агата.
Шёрстка цвета осени.

Дети выстроили домик –
из картонки хижину.
Там ютится пёсий гномик,
жалобный, обиженный.

Хвост в колючках, лапки босы,
вымокли на кончиках.
Ты моя теперь, не бойся.
Всё плохое кончилось.

* * *

В себе несем мы, что всего дороже,
что нас ведёт, как Ариадны нить.
Душа бессмертна. Но бездушье – тоже.
Как от него нам души охранить?

И губы нам измучивает сушью,
и ранит наши помыслы и сны
не простодушье, просто – пустодушье.
Как не хватает истин прописных.

* * *

Утомилась мечта о чуде.
Призадумалась и остыла.
"Понимаешь, всё ещё будет"
заменило: всё уже было.

Хочешь – жалуйся, хочешь – кайся,
но таков уж обычный финиш:

то, что было плывущий айсберг,
то теперь – затонувший Китеж.

* * *

Дождик шёл, беспокойно стуча о стекло,
а потом его сердце устало.
Просто время дождя истекло, истекло.
Вот покапало – и перестало.

Непривычной мгновенье ожгло тишиной,
Взорвалось в ушах, как граната,
Непонятна причина, и кто тут виной.
Это всё перестало, как дождик весной.
Это всё перестало быть надо.

Попрыгунья

"Вот это облако кричит", –
заметил ей художник Рябов.
В искусстве разбираясь слабо,
она глядит влюблённой бабой,
и осень на губах горчит.

"Да, это облако кричит", –
она кивает головою.
Оно кричит, о чём молчит
луна в чахоточной ночи,
о чём ветра степные воют.

Оно кричит, пока он спит,
о чём капель по крышам плачет,
о чём душа её вопит
от первой боли и обид...
Она грешна не так – иначе.

* * *

Обиды – на обед,
на ужин – униженья,
коловращенье бед
до головокруженья.

Но помни, коль ослаб,
про мудрое решенье:
про лягушачьих лап
слепое мельтешенье.

Вселенной молоко
мучительно взбивая,
спасёт тебя легко,
вздымая высоко
душа твоя живая.

* * *

Ввысь неуклонно – рецепты просты –
и весь мир пред тобою у ног...
Страшно подняться до той высоты,
где ты будешь совсем одинок.

* * *

Во всём приметы близкого родства
души с землёй, их тайного соседства.
Переплелись корнями дерева,
им никуда от прошлого не деться.

Мертвеет пень безглавый под кустом.
Скрипит сосна в бессильной укоризне.
Дрожит осина, подавляя стон
по тем, кого любила в этой жизни.

Мне страшен их разбросанный пасьянс.
Шепчу: "Ну хватит, замолчите, будет!"
"Гляди на нас, – я слышу вещей глас, –
когда-нибудь с тобою то же будет".

Сама себе не ровня, не родня,
я наблюдаю пристально за чашей.
Во всём приметы будущей меня
и ни одной приметы – настоящей.

* * *

Долька радости ушла.
Мандариновая долька.
Кто мне скажет, сколько их
там ещё осталось, сколько?

* * *

Тот дождик шёл, как будто он последний
навзрыд, наотмашь, наперекосяк.
Не вслушиваясь в яростные бредни,
спешил домой и чертыхался всяк.

О чём-то он хотел земле поведать,
захлебываясь, в трубах клокотал.
Но всяк спешил в свои дома обедать,
и скоро обезлюдел весь квартал.

Я оказалась лишь одной невольной
случайной собеседницей дождя.
Ему, казалось, этого довольно...
А после – это было так прикольно –
пила его коктейль безалкогольный,
которым угостил он, уходя.

* * *

О где тот младенческий пир,
свет, бивший из скважин,
когда был загадочен мир,
а не был загажен.

Когда и не брезжило дно
у чаши сосуда,
и всё нам казалось чудно,
и всё было – чудо.

* * *

Как ничтожен зазор меж любовью,
её счастьем и горькой бедой.
Это всё лишь одно троесловье,
что нельзя разделить запятой.

* * *

Пока ещё не проклята,
пока ещё не продана,
любовь держите впроголодь,
от сытости помрёт она.

Пока она голодная –
бесплотная, воздушная.
Накормишь – станет плотною,
тяжёлой, равнодушною.

Не полетит по-прежнему
заоблачными руслами.
Не оттого, что грешная,
а оттого, что грузная.

* * *

Не их, а что-то через них,
за ними любим мы,
над ликом воссиявший нимб,
сверкнувший нам из тьмы.
И потому так вечен миг,
связавший слепо, напрямик
и души, и умы.

* * *

Когда надо мною отдёрнулся занавес,
явив всему свету судьбы моей малость
на этой земле все места были заняты,
и мне только небо одно оставалось.

* * *

Ах, какая луна шальная...
Ночь, поистине, так нежна.
Я грешна, я дурна, я знаю.
Я порою себе страшна.

Но глаза поднимаю к звёздам, –
среди множества душ и тел
Бог меня вот такую создал.
Что он этим сказать хотел?

* * *

Уравнения строк не сходились с небесным ответом.
Не давался мне синтаксис боли и логос тоски.
Ты приснился мне впрок в белом облаке лунного света,
и – где тонко, там рвётся – душа порвалась на куски.

Души белыми нитками шиты, причём наживую.
Их, до нитки обобранных, чуть прикрывают слова.
А любовь – живодёрня. Люблю – стало быть, освежую.
Губ закушенных кровь. И на плахе твоя голова.

Жизнь – ловушка. Ты ищешь лазейку, какой-нибудь дверцы,
но заводит в тупик бесконечный её лабиринт.
В стенках клетки грудной детским мячиком мечется сердце,
и не знаешь, какой оно, глупое, выкинет финт.

* * *

"Весна" Боттичелли, "Весна" Боттичелли,
летающие линии в солнечном теле,
струящийся, плавный, томительный танец,
шары золотые, хитонов багрянец.

О чудо чудес, "боттичелиев контур",
мазок, убегаящий вдаль к горизонту.
В изломах материй и складках капризных –
сознание хрупкости, зыбкости жизни.

В изменчивых лицах мадонн Боттичелли
есть то, что мы втайне от жизни хотели,
всё то, что пленяет нездешнюю властью –
пронзительно-четкая формула счастья.

* * *

*Я пишу никому, потому что сама я никто.
И. Лиснянская*

Пишу неизвестно зачем и кому,
хоть адрес конкретный указан.
То, что просияло звездой сквозь тьму,
зачем доверяю я фразам?

Звуча потаённо на все голоса,
оно и без писем известно.
Как бабочки, ангелы и небеса –
безадресно и повсеместно.

* * *

*Золотистого мёда струя из бутылки стекла
так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела...
О. Мандельштам*

Не успела подумать – зачем и о чём
так томилась душа и чего так хотела.
"Как тягуче и медленно время течёт!" –
не успела промолвить, а жизнь пролетела.

* * *

Поверь, возможны варианты.

Л. Миллер

Есть варианты судьбы и возможностей.

А.Кушнер

Как ни вставай на цыпочки-пуанты,
танцую жизни трепетный балет,
твой лебединый час пробьют куранты,
и ты увидишь: вариантов нет.

* * *

Сонно нащупаю тапок.
Тает за окнами тьма.
Тихой крадущейся сапой
сны покидают дома.

Влагой траву оросило.
Я из окошка смотрю,
как эта ночь через силу
переродится в зарю.

Утро – синоним пролога,
с жизнью единых кровей.
Яблоки солнечных блоков
через авоськи ветвей.

Дня бытовое лекало.
Злоба. Усмешка юнца.
Всё это только начало,
только начало конца.

* * *

Как из проколотого шара
выходит воздух –
всё меньше жизненного жара,
всё чаще роздых.

Всё дальше манит неземное,
коллапс воздушный.
А то, что раньше было мною –
балласт ненужный.

* * *

Привыкать к стезе земной
пробую, смирясь.
То, что грезилось весной –
обернулось в грязь.

На душе – следы подошв,
слякотная злость.
И оплакивает дождь
всё, что не сбылось.

Тот застенчивый мотив
всё во мне звучит,
что умолк, не догрустив,
в голубой ночи.

Что хотел он от меня,
от очей и уст,
как в былые времена
от Марины – куст?

Неужели это миф,
сон сомкнутых вежд, –
тот подлунный подлый мир
в лоскутах надежд?

В предрассветном молоке
жизнь прополощу,
и проглянет вдалеке
то, чего ищу.

* * *

Как я узнаю старость,
о том, что она пришла?
По той тишине усталой,
в которой уснёт душа?

По той однозвучной ноте,
к которой с каких-то пор
сведётся в конечном счёте
весь разноголосый хор?

По мысли, что, мозг тараня,
подскажет на склоне дня:
она за какою-то гранью
и ждёт меня.

* * *

"На старость лет пошли мне сад".
Мечта, как прежде, врёт.
Как страшно посмотреть назад.
Ещё страшней вперёд.

Увидеть через толщу лет,
узнать в последний час,
что счастья нет, покоя нет,
и то, что Бог не спас.

Стихи – не чувства, это опыт

* * *

Стихи – не чувства, это опыт,
который душит и страшит.
И не слова, а лепет, шёпот,
невыразимый стон души.

Стихи – не лёгкое дыханье,
а тяжкий горла перехват.
Не правоты своей сознанье,
а мысль, что ты лишь виноват.

Стихи – та боль, что не стихает,
всегда держащая в тисках,
не облечённая стихами,
не облегчённая тоска.

Когда, не зная милосердья,
пройдёшь сквозь всё, что и врагу...
И лишь тогда, как перед смертью,
ты прохрипишь свою строку.

* * *

Стихи растут из сора и из ссор
с самим собою, с миром, с мирозданием.
Из пониманья, что весь этот вздор –
души твоей рисуемый узор –
есть порученье, Божее задание.

Из ощущения личной правоты,
из чувства, что тебя нет виноватей.
Путём зерна из вечной мерзлоты,
из темноты, небесной высоты,
из теплоты единственных объятий.

Искусство

Оно прелюдия и финиш,
оно – и искренность, и ложь.
Желанье большего, чем видишь,
и лучшего, чем ты живёшь.

* * *

Сиянье солнечного дня.
"Купанье красного коня".

Могучий конь, былинный конь
и ярко-красный, как огонь.

Им правит мальчик, невесом,
и телом слаб, и худ лицом.

Не знает критик-ортодокс,
как разгадать сей парадокс.

Тут нет нигде полутонов.
Сюжет и стар, и вечно нов.

Вот так Есенин по весне
скакал на розовом коне...

Крылатый конь. Небесный свет .
Тот мальчик, верно, был поэт.

"Купанье красного коня"
вам всё расскажет про меня.

* * *

Недо-весна: недо-вода,
недо-тепло, недо-одежда.
Между дождём и солнцем между,
как между нет и между да.

Расплывчатость всего, что тало
и что устало быть зимой...
Мне кажется, я начертала
портрет поэзии самой.

* * *

Поэзия должна быть делом личным.
Кто Музу дома в старом пиджаке
встречать не посчитает неприличным –
тот с вечностью всегда накоротке.

Писать своё, до грани, до предела
интимное, на смех или на грех.
Поэзия должна быть личным делом.
И лишь тогда она нужна для всех.

* * *

Неисправимый интроверт,
гляжу на след воды зеркальный,
где отраженья звёздных черт
неотличимы от реальных.

А масло в роковой руке
уже плеснуло у трамвая,
и жизнь, отлитая в строке,
лежит и смотрит, как живая.

* * *

*Одной надеждой меньше стало
одною песней больше будет.*

А.Ахматова

Шагреновая кожа творчества!
Гляжу, сама себе не рада,
как на листке тетрадном корчится
моя отравка и отрада.

Жизнь за окном переливается
цветами неоренессанса,
а у меня переливается
в метафоры и ассонансы.

О творчество, страна Дурмания,
ты – суррогат, зараза, мизер!
Как мне избавиться от мании
жизнь подменять игрою в бисер?

Когда глазами в звёздах тонем мы,
их отраженья множат воды.
Жизнь и поэзия – синонимы?
Антонимы и антиподы!

О творчество, твоё могущество
оплачено большою кровью.
Ты сотрясаешь души ждущие,
как ветер сотрясает кровли.

Непостижимо и таинственно
сомнамбулическое слово
ведёт тропинкою единственной
за дудочкою крысолова.

Грозою распахнуло форточку.
Полынью пропитался воздух.
Чем хуже жизнь – тем лучше творчеству,
чем ночь темней – тем ярче звёзды.

Надежды – вдрызг, удача – побоку,
но живы чудные виденья.
Идёшь по жизни, как по облаку...
О наважденье заблужденья,

что только разрешусь от бремени,
и мир в стихе моём нетленном
предстанет неподвластным времени,
пронзительным и просветленным.

* * *

А если чуточку совру,
прикинусь вещею гуру,
а если я сфальшивлю раз,
кто догадается из вас?

Но это видят облака,
хотя глядят издалека.
И это чувствует луна,
читая строчки из окна.

* * *

Стих пахнет кровью, а не мёдом,
когда не врёт.
Залью чернилами, как йодом.
Пусть заживёт.

Снобы

Эти диетические души,
подмастерья красного словца,
эти замороженные уши
и заплесневелые сердца.

Эта их гримаска: "Очень мило", –
и паскудно перышком скрипит...
Как при встрече с жизнью их знобило!
Как их от стихов моих снобит!

По земле ползут они, как слизи,
сквозь свою тростиночку дыша.
Ничего не смыслит в плоти жизни
вегетарианская душа.

* * *

Мы, поэты – люди голые.

А.Ахматова

Мы голые люди, весёлые люди,
мы служим хорошей мишенью для судей.

Что колет вам глаз, непотребно, прожжённо,
заметней на том, что всегда обнажённо.

Мы голые люди, мы полые люди,
набитые хламом идей, словоблудий.

Кто в руку положит, кто бросит в нас камень.
Вы можете голыми брать нас руками.

Мы дикие люди, косматые звери,
в нас души распахнуты настежь, как двери.

Нам нечем укрыться и некуда деться.
Дрожит на ветру оголённое сердце.

* * *

Так одиноко петь мне про это.
Ты хоть согрей.
Люди не понимают поэтов,
точно зверей.

* * *

Поэты мечут бисер слов
среди свиной, среди ослов.

* * *

Где найти козла отпущения
всех грехов моих и стихов?
У кого попросить прощения,
что сама я и мир таков?

Вот и радуга сверху свесилась,
руку тянет моей в ответ.
Ах, и держит-то всех на свете нас
то, чего на поверку нет.

* * *

Жизнь непривычно тиха.
Стихла стихия стиха.

* * *

В своём соку закисшая строка.
Фонтан, себя питающий устало.
А я – река! Нужны мне берега
и море –то, в которое б впадала.

И – города, что плыли бы в огнях...
Мне нужно всё, несущееся вольно,
глядящееся пристально в меня,
клонящееся в трепетные волны.

Но, стиснутая вдоль и поперёк
плотиной дел, инерции, рутины,
я превращаюсь в жалкий ручеёк,
в то, что судьба и жизнь укоротила.

* * *

Раньше знали их и птицы, и листва,
а потом их грязью мира с неба стёрло.
Я ищу неизреченные слова,
от которых перехватывает горло.

Сор планеты ворошу и ворожу.
Воскрешаю, как забытую порфиру.
Я их лентою судьбы перевяжу
и отправлю до востребованья миру.

* * *

Душа живёт помимо жизни,
а жизнь идёт помимо нас.
Оглянешься на горькой тризне,
опомнишься в последний час.

Как будто мимо рта варенье –
и только воздух ловишь ртом...
Живёшь в своём стихотворенье,
жизнь оставляя на потом.

* * *

Так мне с руки и на руку
переживать отлучку.
Хочется взяться за руку –
и я берусь за ручку.

* * *

Пока пишу – дышу,
как та Шехерезада.
Всю жизнь – карандашу,
не отрывая зада.

А может, не права,
что мне стихи – как воздух?
К чему слова, слова,
когда на небе звёзды?

* * *

"Как тебе там?" – я спрошу у звезды.
"Холодно", – ёжится лучик.
Этой в незнаемое езды
мне бы не знать было лучше.

Чем ближе к небу – тем холодней.
Жить на земле надо просто.
Но зато сверху мне всё видней.
И я понимаю звёзды.

* * *

Есть вещи, что боятся слов:
их назовёшь – и всё растает...
Есть вещи, что боятся снов,
где наши души обитают.

Попытка рая на земле –
к чему я чувствую призыванье,
что робко светится во мгле
без имени и без названья.

* * *

Я схороню себя в своих стихах.
Нет, не увековечу – изувечу.
Я втисну в строчки искренность и страх,
и свой рассвет, и свой последний вечер.

Чтоб каждый стих звучал, дышал и пах,
я жизнь свою в него вмещаю с хрустом.
То снега хруст, иль яблока в зубах,
или костей, обрубленных Прокрустом?

* * *

"На чёрный день", "на худой конец"
рассчитываем обречённо.
Конец – он всегда худой. Наконец
венчает он день этот чёрный.

Не носом в подушку – а носом в тетрадь,
раз горе тебе не даётся.
От этих слёз – как бы их ни стирать –
хоть что-нибудь, да остаётся.

* * *

Как сорными лопухами,
которых никто не ждёт,
могила моя стихами
бесхозными зарастёт.

Стихи о поэтах

Лермонтов

"Кто мне поверит, что я знал любовь,
имея десяти лишь лет от роду?
Подкашивались ноги, стыла кровь...
Мы отдыхали на Кавказских водах.

Забуть не в силах девочки одной
лет девяти... Не помню, хороша ли,
но образ тот навеки был со мной,
куда о пути земные ни лежали..."

Так вспоминал поэт свою любовь.
Пройдут года, и след её растает.
И встретит эту девочку он вновь
через 17 лет... Но не узнает.

Эмилия Верзилина. Звезда
Кавказа. Бело-розовая кукла.
Изящна, образованна, горда,
стройна, и белокура, и округла...

Мишель влюблён. Прогулки тет-а-тет.
Но вот она не кажет глаз, остынув.
Вниманием красавицы согрет
усатый обаятельный Мартынов.

И началось! Обстрелы эпиграмм,
сарказмов яд, всё злее и жесточе...
Но лишь скалистым ведомо горам,
как он страдал, душою кровотока.

Она тебя не стоила, Мишель!
В тот самый день, когда тебя зарыли,
Эмилия – подумаешь, дуэль! –
отплясывала весело кадрили.

Прошло ещё семнадцать. И тогда
была опубликована записка
поэта, где Кавказская Звезда
себя узнала в восьмилетней киске.

Какой судьба придумала курьёз!
И романист так вряд ли подытожит:
та девочка из юношеских грёз
и дама-вамп – лицо одно и то же.

Два чувства только было, два – в одном,
всё, что меж ними – тень былого пыла.
Одно поэта пробудило в нём,
другое человека в нём убило.

Иннокентий Анненский

Нерадостный поэт. Тишайший, осторожный,
одной мечтой к звезде единственной влеком...
И было для него вовеки невозможно –
что для обычных душ бездумно и легко.

Как он боялся жить, давя в себе природу,
гася в себе всё то, что мучает и жжёт.
"О, если б только миг – безумья и свободы!"
"Но бросьте Ваш цветок. Я знаю, он солжёт".

Безлюбая любовь. Ночные излиянья.
Всё трепетно хранил сандаловый ларец.
О, то была не связь – лучистое слиянье,
сияние теней, венчание сердец...

И поглотила жизнь божественная смута.
А пасынка жена, которую любить
не смел, в письме потом признается кому-то:
"Была ль "женой"? Увы. Не смог переступить".

Блок

"Ночь, улица, фонарь, аптека"
всю жизнь тоску внушали веку.
Но каждый век, сроднившись с ней,
был предыдущего страшней.

"О, было б ведомо живущим
про мрак и холод дней грядущих", –
писал нам Блок, ещё не зная,
как он до ужаса был прав.

Насколько мрак грядущей бездны
"перекромешнит" век железный.
Метафизический мейнстрим –
страшилка детская пред ним.

Аптеки обернулись в морги
и виселицей стал фонарь.
И не помог Святой Георгий,
не спас страну от пуль и нар.

О, если б только знал поэт,
когда писал свой стих тоскливый,
что через пять начнётся лет –
то показалась бы счастливой

ему та питерская ночь,
фонарь – волшебным, а аптека
одна могла б ему помочь
смертельной морфия утехой.

Никто не знает, отчего
скончался Блок... И вдруг пронзило:
не от удушья своего
и не от музыки вполсилы,

он вдруг при свете фонаря
увидел будущее наше,
все жизни, сгинувшие зря,
заваренную веком кашу

и ужаснулся этой доле:
кромешный мрак и в нём – ни зги.
Он умер в этот миг от боли.
Он от прозрения погиб.

Коктебель Волошина

Край синих гор зовётся Коктебель.
Небесный взор. Морская колыбель.
Ламанча снов печального гидальго.
Здесь всё хранит недавние следы:
скалистый профиль, абрис бороды,
ступнями отшлифованная галька.

Сюда пристал когда-то Одиссей.
Здесь Ариадной был спасён Тезей.
О Киммерия, древняя Эллада!
Здесь аргонавты завершали путь,
здесь амазонки выжигали грудь,
Орфей спускался в филиалы ада.

"А вдруг он в самом деле Божество?
Пан здешних мест? Природы торжество?"
в смятенье детском думала Марина.
И, кажется, доносят нам ветра
суровый голос мужественной Пра,
за мирный нрав отчитывавшей сына.

Не мог ни на кого поднять руки,
но жил законам века вопреки,
всему тому, что совести противно.
Глядятся в душу, трепетно тихи,
картины, как безмолвные стихи,
стихи, как говорящие картины.

Собака Пастернака

Подонки громили врага – Пастернака.
Все окна побили на даче.
Но этого было им мало, однако –
побили камнями собачку.

Она с перебитыми лапками выла,
скрываясь за дачною дверью.
Поэта травило двуногое быдло,
в загон загоняя, как зверя.

Хотелось им смерти поэта собачьей,
хотелось им крови поэта...
И Лёня Губанов, приехав на дачу,
собачку выгуливал эту.

Неведомо, живы ль собачьи потомки,
но подлости лик одинаков,
и отпрыски тех чистокровных подонков
всё так же громят пастернаков.

* * *

"Жид недобитый, будь ты проклят!" –
писали Бродскому в Нью-Йорк,
когда поэту и пророку
весь мир выплёскивал восторг.

Увенчана наградой лира,
и смокинг для приёмов сшит,
а на двери его квартиры
шкодливо выведено: "жид".

Вороны с профилем аршинным
из русской лужи, гады пьют,
и сионистские снежинки,
пронеры, по свету снуют.

Кругом проникли инородцы...
О, макашовская страна!
Как ни фашиствуй, ни юродствуй,
ты всё вернёшь ему сполна.

Все люди – братья: Авель, Каин...
Хвалебный хор – и злобный вой.
Плохой еврей, американец,
изгой, любимец мировой.

Из дневника Ю. Нагибина

Так вот оно каким явилось – страшное,
когда увидел, отворивши дверь...
Не представляла жизнь моя вчерашняя,
что мне так больно будет, как теперь.

Живу в бреду. Неверие, неверие,
что это не приснилось в смуте дней.
Я праздную убитое доверие,
справляю тризну мощную по ней.

Той прежней Беллы нет, а эта – Боже мой
губительна, враждебна, недобра...
И восемь лет, что с нею были прожиты,
как лёгкий прах, развеяли ветра.

Она ворвалась в жизнь мою непрошенно,
обрушась сумасшедшею волной,
смутила, закружила, огорошила
и погребла всё то, что было мной.

Чем дальше – тем безумнее и муторней...
Глядели ею люди и зверьё.
Всё было ею! Даже кофе утренний
казался с лёгким привкусом её.

Я был повержен. Но ещё барахтался,
пытаясь удержаться на борту.
Ты победила. Погубила. Радуйся!
Всё полетело к чёрту. За черту.

Спокойно, – говорю себе, – без паники!
Не хватит пальцев, в чём её винить.
Я не был слеп, хотя любил без памяти.
Я видел всё и всё низал на нить.

Подонков, что спешили напоить её...
Мне не забыть позора этих дней.
Но никогда так полно, упоительно
ни с кем не будет, как мне было с ней...

То, что звенело жертвенно, торжественно –
оборвалось, как слабая струна.
Извечно-бабьим обернулась женственность.
Разрушена волшебная страна.

Ещё немного твёрдости и холода –
держись, старик, не вешай головы –
и ты спасён от жалящего оводом
страданья, униженья и молвы.

Казалось бы, всё выгорело, пройдено,
уж нечего и незачем беречь.
Но – это ухо маленькое с родинкой,
и шея беззащитная, и речь...

И это пламя тёплого и рыжего...
Что делать с этим?! Кто мне даст ответ?
Не выдержу, не вынесу, не выживу!
И снова слёзы застилают свет.

Но было для неё змеиной шкурою –
что для меня – сожжением дотла.
Я для неё был лишь литературою,
она же кровь и жизнь моя была.

В моей груди свила своё гнездовище,
и, всё отняв, она вдруг стала всем.
Оставь меня ты, пьяное чудовище!
Раз ты ушла, то уходи совсем.

Корёжит душу эта боль бессильная,
глядит бессонно с каждого листка.
Какая осень! Золотая, синяя!
А делать с нею нечего... Тоска.

Мне голосом её синица тенькает.
Пропитан ею воздух и жильё.
Ничто мне не поможет. Всюду тень её.
Мне некуда деваться от нее.

*Здесь до тебя я был,
я плакал в коридоре...
А.Кушнер*

Здесь до меня он был, он плакал в коридоре.
Мне музыка и боль души его слышна.
И, кажется, на треть укоротилось горе.
Ура, не я одна! Ура, не я одна!

Здесь до меня он был. И до сих пор он возле.
И лишь его тоской земля напоена.
Но что же мне сказать тому, кто будет после?
Увы, не я одна. Увы, не я одна...

Посвящения

В поисках дождя

*Встретить Вас я должен был тогда,
в юности, по-блоковски туманной,
в час, когда, гонимый жаждой странной,
я метался в поисках дождя.*

*Я Вас ждал, но Вы меня не знали,
потому и не могли прийти, –
угольки сгоревшей той печали
Вы б теперь сумели там найти.*

*Только разве интересно это –
ту печаль угасшую искать,
юношу в мужчине узнавать
женщине в сиреновом берете?
Н.Р.*

Сто радостей назад и сто печалей
брела и я, себя не находя.
Мне кажется, друг друга мы встречали,
но не узнали в мареве дождя.

Та девушка в сиреновом берете
была от Вас тогда невдалеке.
Мне хочется об этом Вам поведать
на медленном и нежном языке.

Где наши души – голые, босые,
где тот сушивший губы летний зной?
А дождь прошёл – как все дожди косые –
как мы проходим в жизни – стороной.

Дорог не разбирая, слёз не пряча,
металась юность в поисках огней.
Судьба слепа, но души наши зрячи.
Я Вас узнала через толщу дней.

Мы в реку жизни входим лишь однажды,
извечно в сердце что-то бередя.
Но Ваши строки утолили жажду
необъяснимой свежестью дождя.

Памяти В. Козачи

Как сердце вздрогнуло и сжалось,
когда ты в класс явился наш —
учитель, практикант, Вожатый
и снов девичьих персонаж.

Я слов твоих не разумела,
внимав, как музыке, в тоске,
и щёки заливало мелом,
когда ты звал меня к доске.

Однажды, в переулке встретив,
смешавшись с уличной толпой,
я, позабыв про всё на свете,
пошла тихонько за тобой.

Мы шли и шли, как будто вместе,
бесшумный снег всё шёл и шёл,
и мне казалось, как невесте,
он шёл к лицу, как белый шёлк.

Шли никуда из ниоткуда.
Огни мерцали вдалеке.
За нами шло неслышно чудо
не с бритвой – с дудочкой в руке.

Снег опускался плавно-плавно,
и всё пьянило, как вино...
Тогда казалось это главным.
Как это было всё давно...

Всё тихо поглотило время.
Не состоялось рандеву.
Ты жил и жил в стихотвореньях,
в воспоминаньях, сновиденьях,
пока не умер наяву.

Н.С.Могуевой

Нина Сергеевна, милая!
Трудно писать эти строчки.
С нечеловеческой силою
жизнь Вас пытается на прочность.

Как ни толкала бы в ров она,
как ни терзала бы тело –
с этой душой очарованной
ей ничего не поделать.

"Вот дожила и до ландышей!" –
слышу Ваш радостный голос.
Думаю, так вот и надо жить,
не отступать ни на волос.

Верю, что сможете выстоять,
хворь одолеете злую.
Сердце открытое, чистое
Ваше люблю и целую.

В больнице

Кончаясь в больничной постели...

Б.Пастернак

Что сказать ей, чтоб её утешить?
Все слова тут сказанные – зря.
В доме тех, кого собрались вешать,
о верёвке вслух не говорят.

И какие – голову ломала –
взять цветы, которыми согреть,
чтоб ничто ей не напоминало
смерть?

Непосильным было это бремя.
Неуместны книги и пирог.
Малодушно я тянула время,
прежде чем шагнуть через порог.

Нет, не откупиться этой данью.
Не сумеешь сыграть мне эту роль.
Будет страшен лик её страданья,
боль.

Солнца луч, блеснувший, словно скальпель,
озарил сосулек хоровод.
Жизнь застыла той последней каплей,
что сорвётся, кажется, вот-вот.

Я в лицо опавшее глядела,
пряча слёзы, подавляя вздох,
и понять мучительно хотела,
где же тот, кому до нас нет дела –
Бог?!

Н. Медведевой

*А люди придут, зарюют
моё тело и голос мой.*

А.Ахматова

*Раньше был он звонкий, точно птица,
как родник, струился и звенел...*

Н.Заболоцкий

Фраза та застряла, как осколок.
Самый воздух ею пропитался:
"Что ещё? Останется мой голос..."
Ты права, Наташа, он остался.

И не только на плите могильной,
где строка та выбита навеки,
где Пегаса трепетные крылья
обрамляют твоей жизни веки.

Он остался в строчках вдохновенных,
из которых видно, ты какая.
И звучит светло, самозабвенно,
нас с небес безмолвно окликаая.

* * *

На небе сейчас ни облачка.
Сердечки трепещут листьев.
И я не стыжусь нисколечко
банальности вечных истин.

Как будто мозги прочистило,
и ты понимаешь снова:
вначале всего поистине
Господнее было Слово.

Не надо тумана, мистики,
всей этой словесной пудры.
А только б сердечки листиков
да ясное это утро.

Как будто весь сор повытрясло,
и мира чиста основа.
Как после стихов бесхитростных
Валерии Соколовой.

* * *

П.Ш.

Ты весь – как заросший запущенный сад,
откуда уже нет дороги назад.
Запущенный шарик в земной непокой
в небесном угаре Всевышней рукой.

Игрушка на ёлке, кружась и слепя,
напомнит, как в детстве дразнили тебя.
Но кокнулся шарик – такие дела.
И трещина та через сердце прошла.

Заплаканный мальчик поёт о весне,
но падает белогоречечный снег.
Деревья, как демоны, встав на пути,
пророчат, что выход уже не найти.

Душа-побирушка, бобылка-душа,
всегда за тобой ни кола, ни гроша.
Но снова ты голубем рвёшься в полёт,
где ангел невидимый в ризах поёт.

* * *

Офелия гибла и пела...

А. Фет

Падший ангел, изгнанный из рая,
кожу всю содрав, как кожуру,
на глазах у мира умирает,
кровью сердца плача на миру.

Он ещё ни чуточки не старый
и ему так больно умирать.
Струны сердца это иль гитары,
кровь иль слёзы – уж не разобрать.

А вокруг – расплывшиеся морды,
безмятежно гладенькие лбы.
Что им до разорванной аорты,
до души, до почвы и судьбы!

"Знать, недаром выгнали из рая, –
недовольный слышится галдёж. –
Как-то некрасиво умираешь.
Как-то ты невесело ревёшь".

* * *

Дитя, глупыш, зверёныш, чадо,
прошу тебя, не надо чада,
не надо ада и чертей,
тоски, погоста и смертей.

За что мне небо ниспослало
сиё, иль было горя мало?
Но поняла, что не смогу
на том оставить берегу.

Но в память о родной утрате –
давно погибшем бедном брате –
я поклялась тебя спасти,
из царства теней увести.

Но в память обо всех, кто стынет,
о нерождённом мною сыне,
о всех, кому не помогла,
кого навеки скрыла мгла...

Сто раз я повторяю кряду:
за что ты так себя? Не надо!
Как в пропасть, рухаться в кровать
и со свету себя сживать.

Заморыш, плакса, чудо-юдо,
с тобой до смерти биться буду
за душу бедную твою
у чёрной бездны на краю.

* * *

Дорожу твоей жизнью, нелепой такой,
на которую сам ты махнул уж рукой.

И дрожу, как над слабым огарком свечи.
Но поэты – по Герцену – боль, не врачи.

Закую, заплету её в ямб и хорей,
пусть оставит, отпустит меня поскорей.

Что там? Синий троллейбус? безумный трамвай?
Я тебя заклинаю: живи, оживай!

Памяти А.Ханьжова

*У меня есть яблоня любимая в саду.
Каждый год я в передачах яблок жду.
Как обычно, не привозит их никто.
Забывают всегодично, но зато
каждой осенью в чахоточном бреду
То ли с неба дождик, то ли слизь...
Яблоня любимая, дождись!*

А .Ханьжов

Она тебя не дождалась...
Плоды протягивает: "Встань же!"
О, я бы накормила всласть,
когда б стихи прочла те раньше.

Прими хотя бы этот стих
взамен румяных сочных яблок,
чтоб там, где ты навеки стих,
душа твоя не очень зябла.

В петле запутавшихся троп
мы все – судьбы марионетки.
Как тяжкий ком земли о гроб –
стук яблок, падающих с ветки.

Н.С.Войцеховской

Женщина, не знающая старости,
слабости и страха никогда.
Этот дар в себе и этот жар нести
что ей помогает сквозь года?

Как ей удаётся в этом возрасте
словно на коне лететь лихом,
и, не зная корысти и хворости,
жить в обнимку с песней и стихом?

Отдала бы всё на свете золото
я за этот свет и этот след,
и свою сомнительную молодость –
за такие восемьдесят лет!

К юбилею Н.Шаховской

Ты явилась из пены под музыку муз,
словно локон, взбивая ладонями волны,
обретение мира, подарок, искус –
без тебя и народ, и Саратов неполный!

Тёмных мыслей не зная, не ведая зла,
но под лютню июня, свирель крысолова
ты идёшь, как ребёнок, чиста и светла,
устремясь на приманку небесную слова.

О виновница праздника и торжества!
Даже грусть благотворна тебе и целебна.
Так прими выраженьё любви и родства –
лишь оно, как лицо твоё, нелицемерно.

Моему дню рожденья

*В марте месяце родиться –
Господи, внемли хвале! –
Это значит, быть как птица
на земле.*

М.Цветаева

Один из первых дней весны,
а в точности – седьмой,
день пробужденья сил земных
и день рожденья мой!

Ты, помнивший мой первый крик
с младенческих желёз,
источник бед моих, коррид,
побед и горьких слёз,

ты так же светел и лучист,
как в прежние года,
всё так же свеж, румян, речист,
а я уже не та.

И с каждым годом всё трудней
соотнести баланс,
и всё смешнее и страшней
наш долгий мезальянс.

О, не гони своих коней,
единственный из сонма дней,
и дай ещё мне шанс!

Иронические стихи

* * *

Проспект с названием нелепым
"Пятидесятилетия Ок-
тября", где не единым хлебом
живу я, женщина-совок.

* * *

Я голошу и гоношусь,
и голосую гласно,
но никогда не соглашусь –
с чем буду несогласна.

Я гласная, а не согласная.
И этим кой-кому опасная.
Я в голос буду голосить,
голосовать руками,

но не могу я выносить
согласья с дураками.
Я гласная, а не согласная.
И потому такая классная.

* * *

Средь скопища идей
ты извлеки одну:
есть вечер-чародей,
рисующий луну.

Средь сонмища вещей,
где ты никто, ничей –
всегда найдётся щель
для солнечных лучей.

Средь множества людей
всегда найдётся тот,
кто будет не злодей
а просто идиот.

Ода лоху

Среди человеческого чертополоха
всегда отличишь лопуха или лоха.

На лбу у них крупно написано: "лохи".
(А следом идут дураки и дороги).

На радость эпохам родные мессии
советского лоха взрастили в России.

Наивен и прост, он не видит подвоха
и часто впросак попадает, заохав.

(И я не боюсь показаться лохушкой,
попав в хитроумную чью-то ловушку).

Не требуя многого, радуясь крохам,
питаюсь порой чечевицей с горохом,

он мир удивляет сознанием совковым
и чем-то нам люб вот таким, бестолковым.

Про лоха, прошу вас, не думайте плохо.
Он всё-таки лучше, чем хам и пройдоха.

За чистую всё принимая монету,
но их не имея, он близок поэту.

* * *

И в сердце вдруг кольнуло, как ножом, –
вгляделась в силуэт мертвецкий, скотский:
а вдруг это какой-нибудь Ханьжов?
Второй Рубцов? Иль Рыжий, иль Высоцкий?

Вот так когда-то Веничка бухал,
Есенин становился вдруг нестойкий,
Григорьев Аполлон не просыхал,
и Блок был пригвождён к трактирной стойке.

Участливо склоняюсь и светло,
ища в чертах преображенья чудо...
Но не чело мне кажется, а мурло
незнаемый с поэзией пьянчуга.

Литературная разминка с перерывами на обед

Ну-ка ты, забубень хореем.

Б. Рыжий

Восклицательные знаки тополей.
Вопросительные знаки фонарей.
Я иду по многоточию аллея...
В результате получается хорей.

(Пардон, не хорей, а, конечно, анапест.
Звонок у дверей. Обрывается запись).

Вот иду я по аллее
в озаренье фонарей...
(А теперь вот в самом деле
получается хорей).

К ночи холодело. Голубели дали...
(Тут меня от дела снова оторвали).

В вечернем густеющем мраке
светились цветы фонарей...
(А это уже амфибрахий
сменил предыдущий хорей).

Однако и тут я
прошу извинить —
на пару минуток,
лишь чаю попить.

Что у нас в будущем акте?
Дальше сгущается мрак...
(Это, конечно же, дактиль.
Это поймёт и дурак).

Мне, право, очень неудобно,
но на плите кипит обед
(А это ямб четырёхстопный,
что Ходасевичем воспет).

Вот вкратце памятка поэтам —
размеры путать не пристало.
А я прервусь пока на этом.
(И надоело, и устала).

* * *

Лелею искомые строчки,
как будто приبلудных котят.
Такие ж они одиночки,
и так же вниманья хотят.

Детёнышей ласково кличу,
даю им еду и питьё,
и всё, что они намурлычат,
шутя выдаю за своё.

Но вот уж какую неделю
меня эта мысль берedit:
котят ли лелею на деле
иль грею змею на груди?

И эта змея, как Олега,
ужалит однажды до слёз.
Поэзия – это не нега,
а полная гибель всерьёз.

* * *

Пусть кто-то будет резок крайне,
пусть кто-то борется и спорит,
а я – за гранью, я – за гранью
добра и зла, любви и горя.

Пусть кто-то там слюною брызжет,
кричит и кроет что есть мочи, –
я буду выше этой крыши
и тише украинской ночи.

Меня не соблазните дрянью.
Дразните – буду словно пень я.
Ведь я – за гранью, я – за гранью...
Не выводите из терпенья.

Как поэт вступал в Союз

Жил на свете рыцарь бедный...

А.С.Пушкин

У попа была собака...

Народная песня

Не из ранних, а из поздних
был служитель муз.
И мечтал он не о звёздах,
а вступить в Союз.

Это был не рыцарь бедный,
в жизни знал искус.
Не о трубах грезил медных,
а вступить в Союз.

И нашёл товарищ ходкий –
(не дурак, не трус!) –
он поставил ящик водки
и – вступил в Союз!

Но об этом написал,
написал не без запала,
и за это он попал
у писателей в опалу.

Били, кляли и распяли
на столбцах газет.
И писательский отняли
и него билет.

Он об этом написал –
всё равно уж всё пропало!
И опять-таки попал
у писателей в опалу.

И так дальше, на манер
«у попа была собака».
Не берите же пример
с сего рыцаря! Он бяка.

И вернуть его в Союз
никакой не в силах откуп.
Не связать уж прежних уз!
(Разве за багажник водки).

* * *

Лишь два слова о том, как одна патриотка,
для которой не звание это – работка,
вдохновенно в газете меня костерила,
применяя привычное это мерило.
Русофобка, охальница, мол, нигилистка!
Не поставят читатели ей обелиска
за геройское рвенье защиты России,
то бишь горе-поэта, вождя и мессии.
Ничего не отвечу я этой газетке,
лизоблюдке усердной её, профурсетке,
и редактору с именем гордым Огрызок
не скажу, как убог его автор и низок,
оттого, что давно уже этой газете
и подобным "творениям" место в клозете.

Эпиграмма-загадка

Кто, сам собой любуясь нежно,
читит Родину в себе?
Полупоэт, полуневежда
и получлен СП.

* * *

Вино превратится в уксус,
а поцелуй в укус,
когда испускает русскость
антисемит и скунс.

* * *

На сотни тысяч вёрст –
о где их только нету –
разбросан бисер звёзд
пред свиньями планеты.

* * *

Чем, какую уловкой
нам выжить совместно –
чечевичной похлёбкой
или манной небесной?

* * *

По-кащеевски хранить
жизни золотую нить.

* * *

Туманен судьбы негатив.
И страшно его проявление:
а вдруг там сплошной негатив?
Уж лучше незнания томление.

* * *

О, не дразните гусей и быков!
Спящих собак не будите!
Не вызывайте зависть богов!
Бдите.

Помните, как у Блока?
"Будьте тише воды..."
Поэт, забейся в свою берлогу!
Недалеко до беды.

* * *

В реанимации, в рай не доехав,
очнувшись, спросила: «Пойман бен Ладен?»
Так вот и надо жить, кроме смеха.
Полною грудью дышать на ладан.

* * *

"Балерина на сцене" Эдгара Дега.
Эфемерна, возвышенна, полунага.
Как им схвачена вмиг характерная поза,
как изящно изогнута эта нога!

* * *

Перед зеркалом красуясь,
от тебя я слышу: "Рубенс!"

Огорчилась: неужель?
А мне мнилось – Рафаэль!

Вот истаю, словно воск, –
будет Брейгель или Босх!

* * *

Жизни нет от полноты.
Нечего надеть.
Мне для счастья полноты
надо похудеть.

Ненавижу полноту
и всё то, что с ней
как-то связано в быту
человеко-дней.

Полной грудью не дышу
(может лопнуть шов),
полной рифмой не спешу
украшать стишок.

Полноводная река
мне и та тошна,
и пошлее колобка
полная луна.

Надо, надо, – говорю, –
зверски голодать.
И готовностью горю
пол себя отдать

в жертву будущей себе,
стройной, как газель...
Голод с совестью в борьбе
спорят и досель.

* * *

Доля умудрённых жизнью женщин –
ради пира полюбить чуму,
и мужчин, как братьев наших меньших,
по душе встречать, не по уму.

* * *

В моей жизни – жирным курсивом
всё, что связано с той зимой.
Слава богу, что некрасивый –
тем вернее ты будешь мой.

Пусть кривой, глухой, хромой –
лишь бы мой!

* * *

Моешь, драишь, чистишь –
ужас моих утр.
Это вам почище всяких
кама-сутр!

* * *

Жизнь не отоваришь –
хлопоты бесплодные.
Варишь, варишь, варишь...
Глядь – опять голодные.

Только с плеч гора лишь –
вновь в быту погрязла я.
Моешь и стираешь,
смотришь – снова грязное.

А порой отступишь
от постылых правил сих –
любишь, любишь, любишь...
И опять понравился!

* * *

Ваше востромордие,
госпожа собака!
Для кого-то – орды вас,
для меня – одна ты.

Глазки словно вишенки,
хвостик-молотилка.
Ох ты, моё лишенько,
грязная подстилка.

Как бы ты ни гадила,
что б ни натворила,
дня нет, чтобы я тебя
не боготворила.

Ваше хитромордие,
маленькая скверность.
Ты достойна ордена
за любовь и верность.

Пусть отродье сучье ты,
бестия-вострушка,
для меня ты, в сущности,
лучшая подружка.

* * *

Телефон звонит в передней.
Я задерживаю шаг.
Почему-то медлю, медлю
трубку тронуть за рычаг.

И гадаю: чей же голос
прозвучит сейчас в тиши,
утоляя вечный голод
пира жаждущей души?

Кто хранит в уме неброский
телефонный номер мой?
Кто так одинок сиротски,
что звонит ко мне домой?

Чьё так искренно участие
и нужна я так кому,
что звонок уж четверть часа
надрывается в дому?

Я спешу на роскошь пира,
в мыслях радуюсь: виват!
– Это сауна? Квартира?!
Обознался. Виноват.

* * *

И некому послушать,
и не с кем говорить...
Кому скормить бы душу?
Кому себя стравить?

"Согреть другому ужин" ...
А после ждать ножа?
Чужому ужин нужен,
а вовсе не душа.

Убережась от блажи,
сбежит в свои края.
"На кой мне чёрт, – он скажет, –
нужна душа твоя?"

И кличешь, как кликуша,
того, кто скажет: "пить" ...
Кому скормить бы душу?
Кому себя стравить?

Любовь – одно большое ухо,
чтоб всё поймать и понимать.
Не зреньё – обостреньё слуха,
так, как ребёнка слышит мать.

Зачем же уши вам такие? –
как в сказке, спросит визави.
– Чтоб вас услышать, дорогие.
О, уши длинные любви!

* * *

Питай надежду и пытай
неподдающееся счастье.
Скажи: ну пусть не всё отдай,
но поделись хотя бы частью!

И, может быть, совесть проснётся,
и счастье тебе улыбнётся.

* * *

Кончался дождик. Шёл на убыль,
последним жертвуя грошом.
И пели трубы, словно губы,
о чём-то свежем и большом.

Уже в предчувствии разлуки
с землёй, висел на волоске
и ввысь тянул худые руки.
Он с небом был накоротке.

О чём-то он бурчал, пророчил,
твердил о том, что одинок...
Но память дождика короче
предлинных рук его и ног.

Наутро он уже не помнит,
с кого в саду листву срывал,
как он ломился в двери комнат,
и что он окнам заливал.

* * *

Слепая ночь глядит на нас в упор.
Бельмо луны ей застилает взор.
Глазницу неба выклевала ночь
и ничему уже нельзя помочь.

Но сквозь напасти –
только посмотри –
в небесной пасти –
язычок зари.

И он залижет лунное бельмо.
И всё пройдёт, пройдёт себе само.
Пусть ночь мудрит, а утру всё ж видней.
Оно и вправду ночи мудреней.

* * *

Как близоруко призрачное счастье,
оно мерцает всюду и нигде,
даря свой облик издали, отчасти.
Его глаза туманные лучатся,
как солнечные блики на воде.

Оно – пятно расплывчатое света...
Но стоит лишь тебе надеть очки,
и ты воскликнешь: "Боже, что же это?!"
Где лунный лик, приснившийся поэту?
Какие-то болячки и клочки

волос... Из серебристого тумана
возникнет морда, шея с кадыком,
пиджак потёртый с порванным карманом.
Лицо мечты без грима, без обмана.
И это – то, к чему ты был влеком?!

Все заусенцы, ссадины, дефекты,
все желваки земного бытия...
Хотите, чтобы жизнь была конфеткой –

загадочной, манящей и эффектной?
Очки снимите. Сделайте, как я.

* * *

Мелькают лица: тёти, дяди...
Мы все единая семья.
Махнутья жизнями, не глядя, –
какая разница, друзья?

Покуда не свалюсь со стула,
сизу и знай себе пишу.
На жизнь давно рукой махнула.
Кому-то дальнему машу.

По ту сторону света *поэма*

*Я люблю тебя так, словно я умерла,
то есть будто смотрю на тебя с того света,
где нам каждая жилочка будет мила,
где любовь так полна, что не надо ответа.*
И. Кабыш

*Просто стою я, просто смотрю я,
как на земле без меня.*

И. Снегова
*Мы оба умираем, все умираем, всегда умираем.
Я – пока пишу, ты – пока читаешь, другие –
пока слушают или пока не слушают...*
Ф. Петрарка

1.

Я пишу ниоткуда и не ожидаю ответа.
Только чувствую: нам объясниться настала пора.
Не пугайся, прошу, я пишу тебе с этого света.
Это лишь репетиция финиша, проба пера.

Когда кто-то навеки уходит, до судорог дорог,
поглощаемый прорвой, холодной её чернотой,
мы стремимся протиснуться в тьму эту мысленным взором,
тщетно силясь познать, что же там, за последней чертой.
Что нас ждёт за туннелем? Возмездие? Лепет любовный?
Воскрешенье души? Продолжение кошмарного сна?

Что услышим там? Райскую музыку? Скрежет зубовой?
Или дальше, как водится, там лишь одна тишина?

Этот мир мною издавна истово признан и признан.
Если нам доведётся увидеться – где б ни была –
это буду не я, а всего лишь подобие, призрак.
Та, кого ты когда-то встречал – та давно умерла.

Я живу здесь обратно. Я рыскаю в поисках следа.
Дни, как комья земли, засыпают ушедшие дни.
Я живу по ту сторону сна, по ту сторону света.
Я ищу свою душу и то, что ей было сродни.

И, сама себе суд, разрушитель себя и создатель,
между свежестью утра и свежестью новых утрат,
я живу по ту сторону жительство, правительств, предательств,
по ту сторону были и небыли, зла и добра.

Я пишу на песке, я долблю тебе буквы на камне,
и бутылки бросаю в незыблемость Стиксовых вод.
Может, всё это в бездну бесследно по-прежнему канет,
а быть может – кто знает? – по адресу сердца дойдёт.

Здесь вселенная молча взирает глазами пустыми,
отдалённость твою не давая нарушить во мгле.
Мне беспомощно и нелюдимо, как гласу в пустыне,
но не так одиноко и холодно, как на земле.

Я брожу здесь по улицам, днями прошедшими полным,
не ведущим в грядущее и увязавшим в бреду.
Набегают на берег безлюдный свинцовые волны,
волны памяти, и наблюдаю я их череду.

Я впервые свободна. Исполнясь нездешней отваги,
закаливши и выстудив душу на звёздных ветрах,
я пишу, как дышу, на сгоревшей до пепла бумаге
и пером, превратившимся вместе с чернилами в прах.

Здесь со мною Ничто. Это память о том, что с тобою
было, не было и не случится теперь уже впредь.
Я тебя – не поверила б – здесь вспоминаю без боли.
Я теперь поняла – это и называется Смерть.

2.

Мы бродили с тобою по лезвию тайны, по кромке
невесомого льда, ту погибель слегка пригубя.
Я себе представляла уход в никуда как воронку.
А теперь я из этой воронки смотрю на тебя.

С каждым днём расстояние меж нами растёт многократно.
Я-то думала, жизнь – это путь, что куда-то ведёт,
а она – только ветер, который всё дует обратно
и, мешая вернуться, меня у себя же крадёт.

Ничего не прошло. Всё по-прежнему там, где когда-то
мы всё это оставили. Там это всё до сих пор.
Как по листьям опавшим, бреду я по канувшим датам.
Это тень моя с тенью твоею ведёт разговор.

Ты лишь призрак, лишь тень моей мысли, больной и невольной,
что скользит неотвязно, все мысли в себе погребя.
Эта тень всё растёт, вырастая длинней колокольни,
затмевая всю жизнь, что когда-то была до тебя.

Когда ты появился, то мир, пребывавший в покое,
приобрёл направление, потоком стремительным стал.
Ну а ты был воронкой, в которую вместе с водою
этот мир у меня утекал, уплывал, улетал...

Всюду свадьбы, карьеры, веселье, обилье, богатство...
Шепчут море, деревья, трава: "Ну чего ты блажишь?"
Я тяну к тебе руки. Путь узок. Нельзя отвлекаться.
Шаг чуть вправо, чуть влево – и ты оступаешься в жизнь.

Сатана или Бог так безрадостно правили бал сей?
Чья-то карма или кара вершилась, велев: "не живи"?
Мир под цвет твоих глаз так старательно маскировался,
под оттенок стальной невозможности нашей любви.

Это чувство отсутствия, невосполнения, утраты
всё въедалось в меня, словно тьма в однобокость луны,
но чем больше она забирала, тем больше пространства
оставалось душе для высокой её тишины.

3.

Я пишу в никуда. Я живу по ту сторону света.
Только память опять наплывает волна за волной.
Почему я сейчас так отчётливо вижу всё это?
Почему же всё это не умерло вместе со мной?

Что таилось самой от себя, здесь так явно и ярко.
Разве можно от ока Всевышнего что-нибудь скрыть?
Мне хотелось тогда на земле где-то выкопать ямку,
прошептать туда всё, а потом, как могилку, зарыть.

А тебе интересно, скажи, – да ведь я не услышу –
услыхать про мой мир, про мой город, деревья, дома?
Человек, умирая, уносит всё это под крышу
настоящего дома, в глухие его закрома.

Мир беднеет на скверы, автобусы, улицы, парки,
на соседок и кошек, стихи, акварели, моря.
Но я знаю, что ты бы не принял такие подарки.
Ни к чему тебе там запоздалая щедрость моя.

Я её отпускаю пожизненно в замок воздушный.
Пусть парит над тобою всегда об едином крыле,
даже здесь охраняя тебя от того равнодушья,
что пытается нас окружить, задушить на земле.

Не вмещает мой разум понятия смерти и трети.
Ты – её отрицанье, изнанка её, антипод.
Приближенье к тебе – это как приближенье к бессмертью, –
вот полшага ещё – и разгадан таинственный код.

4.

Смерть нежна. Я всё жду, что она разомкнёт свои веки
и с улыбкою лживою вымолвит мне: "Добрый день!"
Может быть, наши души там переплетутся навеки,
если нашим телам не дано это было нигде.

Мне печально и радостно знать про свою обречённость,
про победу бесплодную горнего света над тьмой.
Что-то есть во мне больше, чем просто в слова обречённость,
что сильнее повседневности, больше меня же самой.

Ах, как кружатся мысли, и чьи-то уставшие лица
окружают меня, в них печаль и какой-то надлом.
Души умерших мимо плывут, как опавшие листья,
и, из Леты испив, забывают навек о былом.

Но, чем больше судьба отнимает, тем больше ты любишь
то, что нам остаётся: застенчивый шум тополей,
шелестящее поле, аллеи вечерней безлюдье –
всё, что мы полюбили когда-то на этой земле.

Как хотелось прожить много жизней, удвоя, утрая
всё, что втайне копилось и кануло в ночь без следа,
но одной оказалось достаточно, да и её я
отдала бы легко, чтоб тебя не забыть никогда.

5.

Я живу по ту сторону дней, по ту сторону буден.
Здесь дома, где когда-то жила, что давно снесены.
Здесь забытые мной и меня не забывшие люди,
запах талого снега давно отшумевшей весны.

Небо ясно здесь, море прозрачно, и кажется будто
нарисованным. Словно пейзажи в манере Руссо.
Нереальна волна, нереальна глубокая бухта.
Это видится мне Зазеркальем, похожим на сон.

Если кажется что – всё меняется здесь нам в угоду...
Перед Млечной мечтой отступает хлопот круговерть.
Здесь отсутствуют беды, обеды, политика, моды –
всё, что делает жизнь неживой и похожей на смерть.

Здесь сирены поют, услаждая нездешнее ухо.
А умерших язык не похож на живущих язык:
слишком грубы и плотны слова для бессмертного духа,
и к бумаге шершавой невидимый глаз не привык.

Здесь высокие шпили утоплены в зелени лета.
В этих замках, возможно, скрываются души, как знать?
А в окошечках башен так много небесного света,
что ни грязь и ни низость не могут тебя запятнать.

Я стою на холме. Преду мной расстилается поле,
где сраженья велись... Это было когда-то, давно...
Сильный ветер, и пахнет полынью. Я, кажется, в Трое.
Или в Греции, в Риме – не всё ли теперь мне равно?..

Пред глазами проносятся мифы, предания, даты.
Здесь ходил Демосфен, здесь любили Сафо и Катулл...
Я не больше реальна, чем те, что здесь были когда-то.
Бесконечное время вмещает в себя пустоту.

Где-то брезжит неведомый разуму берег туманный.
Я стою на корме неизвестного мне корабля.
На борту его умерли все. Он плывёт без команды,
лишь теченьем влеком, далеко, без ветрил и руля.

И куда-то везёт он мою одинокую душу...
В темноте всё слилось, погружая весь мир в забытьё.
И не видно границы, которую можно нарушить,
между морем и небом, меж жизнью и небытием.

Мёртвый штиль уступает стихии безудержно-шквальной,
и потоки бушующих волн заливают каркас.
Фразу "сколько воды утекло" постигаешь буквально.
(Уж не та ли вода, что меня окружает сейчас?)

Стрелки здешних часов, над каким-то штрихом замирая,
то встают, то порой норовят поворачивать вспять.
Циферблаты – как солнце, что время пригоршней вбирают,
но оно сквозь лучи, как сквозь пальцы, уходит опять.

Всё течёт. Всё на дно бесконечного канет колодца.
"Всё проходит", – сказал ещё, помнится, царь Соломон.
Только письма мои – это то, что всегда остаётся.
Если ты их читаешь – то призрак уже оживлён.

Полетит поцелуй невесомый в воздушном конверте,
и во мраке ночном задрожит, как бубенчик, звезда...
Есть какая-то связь, что не может прерваться со смертью.
А раз так – то она не прервётся уже никогда.

Нам в себе этот мир никогда не избыть и не выжечь.
Да пребудет же вечно всё, что невозможно забыть!
Может, надо однажды нам всем умереть, чтобы выжить,
через небытие возродившись воистину Быть.

Марина Цветаева и её адресаты *поэма*

Ты была буревестной и горевестной,
обезуме-безудержной и неуместной.
Твои песни и плачи росли не из сора –
из вселенского хаоса, моря, простора!

В эмпиреях парящей, палящей, природной,
просторечьем речей – плоть от плоти народной,
ты в отечестве, не признававшем пророка,
обитала отшельницей, подданной рока.

Ты писала отчаянно и бесполезно
по любимому адресу: в прорву и бездну.
Я люблю твою душу, души в ней не чаю.
Я сквозь годы сквозь слёзы тебе отвечаю.

* * *

Певческим горлом, речью без пауз
через тебя разговаривал хаос.
Пеной морской первозданно дыша,
музыкой слова рождалась душа.

Жизнь разыграла свою как по нотам,
тяготам вверясь её и темнотам.
Княжеством слова и царствием снов
ты овладела до самых основ.

Люди судили с своей колокольни,
не понимая, как тебе больно.
Ты же была на высокой своей,
там наполняясь вселенною всей.

Равенство дара души и глагола.
Всё на виду – беззащитно и голо.
Радость – сверх меры, мучение – всласть.
Не виновата – такой родилась.

Некомфортабельна, бескомпромиссна,
ты – воплощение высшего смысла.
Божий ребёнок в мире людей,
в мире, какого не знали лютей.

* * *

Любила всей собою,
ласкаясь, как река,
как яростное море
объемлет берега.

Но камню поцелуи –
что мёртвому – интим.
Исход был неминуем.
Финал неотвратим.

Остынув и отхлынув,
ты оставляла пляж,
холодный и пустынный,
бездушный, как муляж.

* * *

Товар души не пользовался спросом.
Зверь убегал от щедрого ловца.
Сердечный жар встречаем был морозом,
и домом были лбы, а не сердца.

Но, не страшась облома и курьёза,
любила наобум и напролом.
Того, кто предпочёл бы ей берёзу –
не встретила, не обняла крылом.

* * *

Ей нравились чёрт и волк,
Эола крутые вихри.
Хоть кудри вились, как шёлк,
но глаз был пантерин, тигрин.

На бой вызывала зло,
бравировала грехами.
Когда в любви не везло –
отыгрывалась стихами.

* * *

Из небытия, из небыли
творила она людей.
Те в жизни такими не были.
Что им до её затей?

Лавиной своей безмерности
она их сметала в прах.
Попытки любви и ревности
устало терпели крах.

Земного бы ей уклада бы,
чем так высоко парить...
Но пуще неволи надоба –
раздать себя, раздарить.

Чтоб снова волной запениться
о чей-то гранит колен
и вспыхивать птицей Фениксом,
навек побеждая тлен.

* * *

Она была приметой века,
безмерней всех его мерил.
Бог по ошибке человеком
её однажды сотворил.

Сродни стихиям и лавинам,
творя свой ад, растя свой сад,
всё дальше, всё непоправимей
переселялась в небеса.

Ей расстоянья – не преграды.
Она любила вопреки.
Ей письма заменяли взгляды,
прикосновения руки.

Ни женской хитрости, ни шарма –
богиням это ни к чему.
Она не отмеряла шага,
летя над пропастью во тьму.

И в никуда из ниоткуда
летела, возрождаясь вновь,
её заоблачное чудо –
её заочная любовь.

Идиллии не выносила.
Рвалась из жизни, как из жил.
Какая неземная сила,
какой ей демон ворожил?

Непознаваемое Канта,
бескрайней неба и морей...
Петрарка меркнет, блёкнет Данте
перед этим пиром эмпирей.

Палящих губ и рук касанья
ей заменяло, грея кровь,
души полярное сиянье –
эпистолярная любовь.

* * *

Любовь её – не то, что вхоже
в такой-то дом в такой-то час,
а выхождение из кожи,
что рвётся, корчась и лучась.

Рука от нежности избытка
не в силах удержать перо.
И длится сладостная пытка,
и приближается к зеро...

Петр Эфрон

Морщинки смеха возле длинных глаз,
высокий лоб и щёк сухая впалость.
Какая нежность в сердце разлилась!
Любовь была синоним слова "жалость".

Она не изменяла, не лгала –
волной тепла и света накрывала.
Пусть "Пётр" – это "камень" и "скала", –
она нежнее имени не знала.

Любила безгранично, всей собой,
одной любовью – музыку, берёзу,
стихи и вечер дымно-голубой,
и мужа, и свои ночные грёзы.

Пришли неповторимые слова.
Он первым был, кого поцеловала
после Сергея... И была права
всей правотой безудержного шквала.

Она могла, она умела сметь,
всю душу отдавая на закланье.
Любовь её не победила смерть.
И это было первое посланье,

познавшее великую тщету –
письмо в пространство, в вечность, в пустоту.

Осип Мандельштам

Державные, воспитанные строфы
не сочетались с обликом певца,
не знавшего ещё своей голгофы,
весёлого враля и гордеца.

Заносчивый, беспечный лебедёнок
с ресницами густыми в полщеки,
вниманием красавиц обойдённый.
Она в огонь швыряет сердце: жги!

И мечется оно, как детский мячик,
чтобы судьба им наигралась власть.
"Божественный десятилетний мальчик"
узнал впервые, что такое страсть.

О, как она парила окрылённо,
дарила всё, что встретит на пути.
Лукавый отрок, серафим, орлёнок...
И, клетку сердца распахнув, – лети!

Александр Блок

А встречи не было. Биографы не числят
её в ряду цветаевских потерь.
Но не в земном, не в ординарном смысле
она была, и даже есть теперь.

Её обычным не увидеть зреньем.
Над бездной лет протянуты мосты.
Она в ином, четвёртом измеренье,
где область чувств находится шестых.

Орфей, сын Бога, существо из мифа,
бесплотный призрак, снеговой певец,
не признанный в грязи погрязшим миром,
в страданиях затихший наконец.

В полёт ушедший ангел, небожитель,
на запад солнца устремив крыла.
Не смерть – его природная обитель –
жизнь на земле случайностью была.

Не потянулась вслед ему руками
и не сошлась рука с его рукой.
„А если б встретились – он не за облаками,
а был бы здесь“, – промолвила с тоской.

Мели над миром синие метели,
капельки пробуждали ото сна.
Ах, если б знать, в какой он колыбели
сейчас лежит, ах, если б только знать...

Никодим Плуцер-Сарна

"Даниил", "Фортуна", "Казанова" –
все они навеяны одним.
Узколицый, смуглый, чернобровый.
Плуцер-Сарна, имя – Никодим.

Чем же вдохновил, каким обманом
тот авантюрист и супермен
на "Любви старинные туманы",
"Дон-Жуана", бурную "Кармен"?

Запах, запах смуглой той сигары...
Ночь Монако виделась ей в нём.
Роскошь страсти, каторжная кара
и окно бессонное с огнём.

"Лишь ему под силу было это, –
вспоминала, голову клоня, –
полюбить не женщину, – поэта,
вещь такую трудную – меня."

Даже ей, с судьбой степного волка,
нужно было знать, что всё же был
кто-то, кто хотя бы ненадолго,
но по-настоящему любил.

Юрий Завадский

Нечеловечий рост. Красив, как бес.
Всё в нём – особенного сорта.
Святой Антоний, что сошёл с небес,
чтоб воскрешать людей из мёртвых.

Таким она увидела его
на сцене в пьесе Метерлинка.
Убожество её и божество.
Неуловимая подлинка

змеилась в уголках прелестных губ.
Холодноватая улыбка.
Глаза Нарцисса, что влекут и лгут,
мерцающая призрачно и зыбко.

Комедиант, кутила, лицедей!
Тщеславие и вероломство.
Когда ещё увидишь среди людей
такого ангельского монстра.

В её стихах ни раньше, ни потом
весёлости такой не встретить.
Но лёгкая любовь с большим трудом
давалась ей всегда на свете.

Грешок грошовый, юноша, плейбой!
Смешались в чувстве по призванью
влюблённость и насмешка над собой,
презрение и любованье.

Николай Вышеславцев

Николай Вышеславцев. Художник и график.
Широко образован, учён и умён.
Чем таким он Марине душевно потрафил,
что включён был в созвездие прочих имён?

А ничем. Не его была вовсе заслуга
в том, что билось, томило её и влекло.
Просто страх, что укроет их вечности вьюга,
что немного – и тело уже отцвело.

Но не счастье ждало, а его лишь личина.
Царь-девице найдётся ли кто-то под стать?
Худосочное жалкое сердце мужчины
было каменным и не умело летать.

Остывал на костре приготовленный ужин.
Ведь вчера ещё только в глаза ей глядел!
А сегодня косится, и ужин не нужен,
и душе обозначен смертельный предел.

Оскорблённая гордость сердечного пыла.
Защищалась от слов, как ударов в лицо.
И была неподсудна, поскольку любила, –
значит, чище чернящих её подлецов.

А портрет, что с Марины напишет художник, –
тяжело на него и тревожно смотреть.
В том лице, искажённом мучительной дрожью,
одиночество, горе, страданье и смерть.

Евгений Ланн

Казалось, он судьбой ей дан,
как ангел с мощными крылами.
"Евгений Ланн! Евгений Ланн!" –
звенело в ней колоколами.

В его чертах дышала страсть.
Он был похож на Паганини.
Полуулыбки злая сласть,
порывистость летящих линий.

Орлиный нос и жёсткость глаз.
Разлёт волос подобен крыльям.
Вновь в небесах открылся лаз
благодаря её усильям.

Прообраз Красного Коня,
мужское воплощенье Музы.
Он реял пламенем огня,
свободный от земного груза.

И птица Феникс ожила!
Умчит её крылатый Гений
из мира тяжести и зла
в края воздушных песнопений...

Никто б не мог любить сильнее!
Но лишь собой была богата.
На долю доставались ей
не абсолюты – суррогаты.

В душе, казавшейся родной,
таилась хитреца и хилость.
Там клетки не было грудной,
куда б её душа вместилась.

В руке лишь пепел от огня.
С небес на землю возвращенье.
С обложки "Красного Коня"
она снимает посвященье.

Сергей Волконский

В тёмных прядях – нити седины.
Взгляд очей тяжёлых карь и пристальн.
Олицетворенье старины.
Дон-Кихот. Потомок декабриста.

Княжеское гордое лицо.
В нём она почувствовала сразу
мудрый мир старейшин и отцов,
уходящей благородной расы.

О, какой бесценный это клад,
внешне невещественный, незримый.
"Человеком на высокий лад"
стал он для восторженной Марины.

Тяжкий грохот Красного Коня,
ускакавшего по тропам горным,
вдруг сменился тихим часом дня,
часом ученичества покорным.

Роскошь душ и пиршество умов.
Слушание жадными ушами.
Переписка трёх его томов –
сладкий долг, уроки послушанья.

Сколько надо было разгрести,
отмести всё то, что было лишним
от её неполных тридцати
до его шестидесяти с лишним.

Не сказать, чтоб он её любил,
но уже сдавался в поединке.
Скверный кофе желудёвый пил,
сваренный ему на керосинке.

Расстоянье между визави
одолела силой тяготенья,
всею безответностью любви
и – добыла в вечное владенье!

Это чувство было без невзгод,
выше всего женского-мужского.
Ещё долго-долго – целый год –
не хотелось ей любить другого.

Абрам Вишняк

О прелесть хищника мужского,
его ленивого броска!
Зевок звериный вместо зова
и флорентийская тоска.

Пустой орех, порожний колос,
но как обманывает лоск!
И вкрадчивый, как полночь, голос,
и шерсть курчавая волос...

Он был животное, растенье.
Стихи любил он как духи,
меха... Любовь была постелью
без всякой книжной чепухи.

Блаженства чашу пил до донца,
но с жизнью сердца не знаком.
И он тянулся к ней, как к солнцу,
своим помятым стебельком.

Судьба таким не занозила
душ ахиллесову мозоль.
Изнеженный, неотразимый,
не знал он, что такое боль.

Она всего лишь жить пыталась,
кроила пальцами в крови,
чтоб выкроить хотя бы малость
великой низости любви.

Слова-ладони гладят, поят,
ласкают буквами в строке.
"Мне нужно что-нибудь живое."
Спала с письмом его в руке.

От нежности смежая вежды,
ночами грезила, не спя.
Но жажда не была надеждой.
Она пила саму себя.

Системы не имел имунной,
как в пропасть, падала ничком,
и жилы превращались в струны
рыдавшей скрипки под смычком.

Ей душно было в той постели.
Хотела вечного душа.
Всё кончилось через неделю –
ей нечем было с ним дышать.

Александр Бахрах

О, как она ждала письма!
Так приговора ждут,
пытаясь не сойти с ума
от тиканья минут.

Строки натянута струна
и сердце всё в крови.
Заочность – странная страна,
страна её любви.

И материнская тоска,
и смута женских чар,
сойдя с бумажного листка,
слились в единый жар.

Её любовь – не пут зажим.
Сама себя лепя,
она для тех, с кем сводит жизнь, –
лишь повод для себя,

лишь повод для своей души,
забытой долгим сном,
как песня чудная в глуши
о тайном и родном,

чтоб в раковине красоты
таить мечту невстреч,
от скверны внешней суеты
свой жемчуг убережь.

Идёт волшебная игра.
Она творит свой миф –
факир блокнота и пера,
на час ночной калиф!

О том, что над, о том, что всклень,
о том, что хочет куст.
Безмерность слов – всего лишь тень
безмерности тех чувств.

И вот не даль уже, а близь.
В глазах – мерцанье звёзд.
Душа и молодость сошлись,
двух абсолютов схлест.

Игра – как жизнь, игра – как рок,
как инобытие.
Но ничего, помимо строк,
не вышло из неё.

Ушёл тот миг, разоблачась,
иным огнём гоним.
Был с ним её окончен час.
Осталась вечность с ним.

Константин Родзевич

Виновник обрыва на ноте высокой –
иная в судьбе её роль.
Тот, прежний, был болью, а этот был только
желаньем убить эту боль.

Стихов не любил её. Читил Гумилёва.
Бывал на войне и в тюрьме.
Студент-эмигрант, дон-жуан и гулёна,
а, в общем, себе на уме.

И снова слепая душевная трата,
блаженная смута в крови.
Он был не вершинным заоблачным братом
любовником самой любви.

Простая мужская животная сила.
Не вздох – а ликующий крик.
Впервые земные слова находила,
открыв среди морей материк.

Впервые открылось ей счастье счастливых,
вкус хлеба – не пресных мякин.
Из сотен Пьеро – боязливых, слезливых –
единый – за жизнь – Арлекин!

Письмо – сама жизнь, торжество и сиянье,
как вызов попам и гробам.
Мираж, лишь на миг обернувшийся явью
и сладко прильнувший к губам.

Вершина любви обрывается в море.
Из клетки отпущен птенец.
Гора – её гордость. И горечь. И горе.
Гора породила Конец.

Рассталась навек, без надежды на встречу.
Расшиблась на полном скаку.
Ей нечем любить и надеяться нечем –
разбитое сердце в снегу.

Но стиснуты зубы, и веки сухие.
Разбрасывать камни – пора.
Стихи – не нужны, остаются стихии:
лавины, моря и ветра.

Борис Пастернак

Жажда ангельского, ту-светного.
"Дай мне руку на весь тот свет!"
Вся тоска всего безответного
этот вымолила ответ.

Всех затмивший живых и умерших,
он был с нею душевно слит
всеми помыслами и умыслами,
как Адам со своей Лилит.

Бог простил бы за эту боль её
грех беспутства и зло измен.
Дом был долей, а он был волею,
той, что счастьем дана взамен.

"Изначальные несовместимости –
жить тобою и жить с тобой".
Пересиливала их мнимостью,
высшей милостью и волшеббой.

Осыпала, как снегом, стансами.
Целовала чернильный след.
Выколдовывала на станции,
вызывая душу на свет.

И под всеми косыми ливнями,
возле всех фонарных столбов –
её оклик ночами длинными –
его отклик на этот зов.

Довели до предела – спасу нет –
одинокество и печаль.
Что ей делать, слепцу и пасынку,
ночью плачущей без плеча?

Ей, незрячей, его, незримого,
по каким искать городам?
Сердце, посланное Мариною,
по стальным летит проводам.

Своего близнеца отыскивая
среди штампованных постоянств, –
страсть неистовая, неизданная,
выше времени и пространств.

А свиданье висело в воздухе.
В далях таяло: "Где ты, друг?"
На том свете ей будет воздано
за крылатость воздетых рук.

Календарные даты путающая,
срока ждёт она своего
и оглядывается в будущее
на несбывшегося его.

Райнер Мария Рильке

Старинный замок. Тихий сад.
В горах затерянная местность.
Светилась в голубых глазах
таинственная неприметность.

Печаль полуприкрытых век.
Звучанье строк подобно флейте.
Кто – ангел? Богочеловек?
Орфей двадцатого столетья?

Их душ глубинное родство
поэта сразу покорило.
На карте внутренней его
была отмечена Марина.

Поверх барьеров и помех
о, как ей в грудь к нему хотелось!
Он был единственным из всех,
в котором всё сплелось и спелось.

Он был её живое Там,
её заоблачное чудо.
И вновь несбыточным мечтам
слепых надежд даётся ссуда...

Любви ненасытима суть.
Ей вечно платишь неустойку.
Сказать любимому: не "будь
со мной", а "будь!" – и только.

Глаза в слезах, душа в цветущем.
Длительность и боль – её призванье.
Свиданье душ "на тем свете"
без признаков существованья.

Ладони никогда уже
не лягут на земные плечи.
Попытка комнаты в душе –
предвосхищение невстречи.

В отчаянье во тьму одна
глядит бессонными очами.
Куда? Зачем? За что?! Стена.
Власть рока. Далее – молчанье.

Растёт и ширится тоска,
стремясь из тела, как из склепа.
Но из земного тупика
есть выход: в беспредельность неба.

Пусть не дано им счастье двух,
но даль всегда встречалась с далью,
простор – с простором, с духом – дух,
печаль вселенская – с печалью.

Горит в раю его звезда.
В зрачки светил глаза упёрты.
Но ни на миг она тогда
его не ощутила мёртвым.

Где жало, смерть, твоё? Любви
заоблачной сродни заочность.
Её небесный визави
теперь читал её без почты.

И месяц, тайною томим,
застыл в пространстве законном,
как вечный памятник двоим,
не встретившимся в мире оном.

* * *

Любящая, не любимая! –
Дышит болью каждый шаг.
То болезнь неизлечимая,
называется душа.

О блаженство! О проклятие!
Набирала высоту.
Рук раскрыленных объятия
обнимали пустоту.

В безответном мире, где ни зги,
ты высоким шла путём.
И серебряные дребезги
с неба сыпались дождём.

И от этой беспросветности,
от безлюбости земли
устремлялась ты к ту-светности,
сладко брезжущей вдали.

* * *

Доживать – дожёвывать горькую полынь...
Лучше – след ножовый уж, мертвенная стынь.
Нет вопроса вздорного – быть или не быть.
Точит мысль упорная – где бы крюк забить.

Заглянув бестрепетно в прорези зари,
ты ушла бессмертной, в небо воспарив,
в тишину упавшую строки прохрипя,
удавить не давшая родине себя.

* * *

Страна её убивала.
Затягивала петлю,
скамью из-под ног выбивала.
Никто не сказал: "люблю".

Никто не раскрыл объятья,
никто не расправил крыл.
И розового платья
никто ей не подарил.

Но силу в себе растила,
отринув и смерть, и страх.
Страна её не вместила
и вытеснила в астрал.

* * *

Не чета она роду людскому,
заскорузлым его племенам,
а небесному или морскому,
занесённая бурей к нам.

Ни в телесной земной оболочке
не вмещала просторы свои,
ни в пределы написанных строчек,
ни в прокрустово ложе семьи.

Ни приюта себе, ни ночлега,
ни единства с душою родной.
На шестые сорта человека
выносило шальною волной.

И не души – а слабые душки
ей встречались на тропах земных,
что парили в пространстве воздушном,
лишь пока она дула на них.

Наступала разлука, разруха,
неизбежный для смертных предел.
На высоты вселенского духа
вместе с нею никто не взлетел.

* * *

"Всю жизнь напролёт пролюбила не тех", –
мне слышится вздох её грешный.
Что делать с тоской безутешных утех,
с сердечной зияющей брешью?

Что делать с расплатой по вечным счетам,
с ознобом нездешнего тела?
Любила не тех, и не так, и не там...
Иначе она не умела.

У гения кодекс иной и устав.
Он золото видит в отбросах.
Любить... Но кого же? – мы спросим, устав.
Пред ней не стояло вопросов.

Ей жар безответный в веках не избыть.
Любой Гулливер с нею – хлюпик.
О, если бы так научиться любить!
С тех пор так никто уж не любит...

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Невстреча

*Сюда принесла я блаженную память
последней невстречи с тобой.*

А. Ахматова

*Вдруг повстречались в том же месте,
где расставались жизнь назад.*

Б. Рыжский

Я ждала его у Вечного огня в сквере театра им. Чернышевского. Мне было четырнадцать лет. Я написала ему тогда: “Буду ждать тебя здесь в субботу, в воскресенье, в понедельник, всегда! Только приходи”. Письмо было анонимным.

Падал снег. Горел Вечный огонь. Я позвонила ему из автомата. Молчала в трубку. Он ответил что-то чуть раздражённым, домашним, никуда-не-собирающимся голосом. Я поняла, что он не придёт. Никогда. На моё всегда было ответом его никогда. Снег казался опустившимся занавесом над моей жизнью. Финита ля комедия.

Много лет спустя, когда я ему это рассказала, он признался: “А я приходил в последующие дни”. Мы не встретились. Это было к лучшему, как показала жизнь.

Всё здесь сейчас по-прежнему. Чернышевский покровительствует влюблённым и зовёт не к топору, а к любви. И Вечный огонь горит и не сгорает. Я написала тогда стихи о Вечном огне. Не только о том, что горел в сквере, но и о том, что пылал у меня внутри, о том счастье любить, за которое отдал жизнь безымянный солдат. Маститый поэт обругал: “Попадись мне этот автор! Люди кровь проливали, а тут шуры-муры”. Не понял высоты моей мысли.

Шуры-муры не состоялись. Много лет спустя мы случайно встретились. Он упоённо рассказывал, какую огромную тыкву вырастил у себя в огороде. “Ионыч”, – подумала я. Правда, там был крыжовник, а не тыква. Но какая разница. Это была та самая тыква, в которую превратилась золочёная карета из сказки. Во что обернулась моя мечта. Подумать только, ведь я могла бы прожить не свою жизнь. И, кто знает, если бы он пришёл тогда на то первое свидание, то я бы сейчас выращивала тыквы, а не читала лекции о поэтах. А что в этом плохого? – недоумённо пожмут плечами большинство женщин. “Счастье на проторённых дорогах”, – писал Пушкин, уговаривая себя жениться. Но он не нашёл его там. Поэт устал. Он хотел быть как все. Но гений не может быть как все. В этом трагический зазор.

Никогда не нужно жить по заведённому кем-то стереотипу. “Как все”. “Как у людей”. “Не нами заведено”. “Выбирайтесь своей колеёй”, – пел Высоцкий. Несчастливое счастье поэта заставляет его жить по иным законам, по которым не может существовать человеческое большинство. С годами я это поняла, а тогда, в юности, просто интуитивно чувствовала.

Нельзя было первой писать письма, назначать свидания, молчать в трубку – всё это отнюдь не способствовало ответной любви к себе. Но так было нужно моей душе. Так было нужно моей судьбе – чтобы он не пришёл, не полюбил, не ответил. И чтобы я прожила в результате свою жизнь.

Некрасивое горе

Это была счастливая благополучная пара. Он преподавал в Политехническом. Дочь заканчивала школу. Недавно они въехали в новую квартиру, начали в ней ремонт. Он поехал на неделю в Сочи. Как потом оказалось, не один. Во время шторма заплыл в море. Его относило волной всё дальше и дальше. Он ничего не мог сделать. Кричал, звал на помощь. Плакал, поняв, что ему не выплыть. Любовница беспомощно бегала по берегу. Спасатели прибыли слишком поздно. Сообщили жене в Саратов. Это был двойной удар: смерть и открывшаяся измена. Весь завод, где она работала, бурлил, передавая из уст в уста скандальную новость. Мнения разделились: одни сочувствовали жене, другие – любовнице. Надо сказать, на стороне любовницы было большинство. Она была так одухотворённо светла и трагична в своей печали. А жена говорила о каких-то второстепенных меркантильных вещах: сетовала на мужа, что тот не успел сделать ремонт, не устроил дочку в вуз... Возмущалась, что любовница не отдаёт ей часы мужа. А та отвечала, что это единственное, что у неё осталось от него, что она с ними теперь разговаривает. Все жалели любовницу и опасались, что она сойдёт с ума. Но с ума неожиданно для всех сошла жена. Потом я поняла: она говорила о всех этих посторонних бытовых вещах не по причине меркантильности и мелочности, а страхась подумать о главном, инстинктивно отталкивая его от себя, не впуская в сознание из чувства самозащиты. Но страшное всё-таки настигло её и накрыло своим чёрным крылом, помрачив рассудок. Она долго лежала на Алтынке.

Как-то случайно встретила её на улице. Она говорила законченными предложениями, старательно выговаривая слова. Подробно объясняла мне, где раньше работала (а мы работали вместе десять лет, сидели рядом!) Стало жутко. Потом до меня дошли слухи, что она спилась.

Я часто думала об этих двух женщинах, о красивом одухотворённом страдании одной (в чём-то напоказ) и некрасивом, даже отталкивающем поведении другой, которой уже не до того, какой её видят люди. Но её горе – неопрятное, суетливое, с незначительными словами о чём-то будничном, неважном, не со слезами, а с бессмысленной юродивой улыбкой – было подлинным, а потому особенно страшным.

Собачья старость

Под этим выражением обычно подразумевается осенне-промоглое, беспросветно-тоскливое существование пожилых людей, одиноких, заброшенных и никому не нужных. Почему “собачья”? Может быть, потому, что собаки – единственное, что согревает и утешает их в последние дни.

Мария Шкапская была одинока тем пронзительно студящим душу одиночеством, которого не понять непоэту. Её строки шокируют, даже пугают:

Гроб хочу с паровым отоплением,
на парче золотые отливы,
жидкость ждановскую против тления
и шопеновские к ней мотивы.

Калорифер от топки нагреется –
и в гробу отворяется дверца.
Пусть хоть кости в могиле согреются,
если в холоде умерло сердце.

При жизни она выпустила пять сборников стихов и оказалась прочно, капитально забыта. А между тем в 1923 году Флоренский ставил её вровень с Цветаевой, выше Ахматовой.

Последний сборник Шкапской вышел в 1927 году. Больше до самой смерти в 1952-ом она стихов не писала. “Стихов сейчас не пишу, – сообщает она в своей автобиографии. – Поэт я лирический, а нашей эпохе нужны иные, более суровые ноты. И потом кажется мне, что и поэт я ненастоящий, и в литературе тоже такой же случайный странник, как и во всех других областях жизни”.

Господи, всё я приемлю –
вышла в назначенный срок,
в час предначертанный в землю
лягу в сырой уголок.

Полной отмеренной мерой
груз моей боли несу,
сею с надеждой и верой
в жизни свою полосу.

Надежды не оправдались. В 50-е годы репрессировали младшего сына. Больше она его не видела. Подступили старость, болезни, одиночество.

Не смерть страшна. Перед её косою
душа чиста.
Нет, страшно то, что даль передо мною
пуста.

В последние годы жизни её главным утешением стали собаки. В доме всегда жили пудели. Потом она увлеклась собаководством, вошла в совет московского клуба собаководов, как когда-то в президиум Петроградского союза поэтов. Умерла Шкапская странной и нелепой смертью. На выставке собак в сентябре 1952-го года к ней кто-то подошёл и сказал, что пудели, прошедшие её контроль, неправильно повязаны. Она упала прямо на арене, где проходил этот собачий парад. Разрыв сердца.

Сегодня солнце всё в морщинках
и небо – как писал Каррьер.
Со мною томик Метерлинка
и неразумный фокстерьер.

И след того, за чем бессмертье,
в собачьих светится глазах, –
любви, поднявшейся над смертью,
любви, преодолевшей страх.

Из шестидесятилетнего забвения Марию Шкапскую вызвал Е. Евтушенко, напечатав её стихи в своей “Антологии” в “Огоньке” 1987-го года. Прочтя эти стихи, забыть их уже невозможно.

В 1996 году в Москве вышло “Избранное” Шкапской, изданное её дочерью за свой счёт тиражом в 150 экземпляров. Дочери её – Светлане Глебовне Шкапской – сейчас 85 лет. Живёт она в Москве, в коммуналке, так же одиноко и бедно, как все пенсионеры. Ни одного зарубежного “избранного” её матери ей не прислали. Никто никогда не обращался к ней с вопросом по поводу авторских прав. За перепечатки материнских стихов она не получила ни копейки. Одинокая собачья старость стала уделом и дочери Шкапской, словно перешла по наследству.

Как-то по ТВ прошёл сюжет: кадры из домашнего архива Георгия Вицина, запечатлевшие последние дни его жизни. Как сейчас помню: собака, стоя на задних лапах, тянет к нему свою мордочку, а он, наклонив к ней ухо, делает вид, что внимательно слушает. Его спрашивают: “Что она говорит?” Отвечает: “Говорит, что любит, что не забудет”. (Он уже знал, что дни его сочтены). И серьёзно обращается к пёсией морде: “Ты меня любишь? Правда? Ты меня не забудешь?”. И вспоминались пронзительные строки Вениамина Блаженного:

А те слова, что мне шептала кошка, –
они дороже были, чем молва,
и я сложил в заветное лукошко
пушистые и тёплые слова.

...Они за мною шествовали робко –
попутчики дороги без конца –
собаки, бяки, божии коровки,
а сзади череп догонял отца.

На ножке тоненькой, как одуванчик,
он догонял умершую судьбу,
и я подумал, что отец мой – мальчик,
свернувшийся калачиком в гробу.

Когда человек умирает

*Когда человек умирает –
Изменяются его портреты.*

А. Ахматова

Их замечаешь, начинаешь о них думать, когда их уже нет. Когда человек умирает, изменяются не только его портреты, изменяется наше видение его. Открывается нечто такое, что не виделось глазом при его жизни.

Я хочу написать сейчас не о близких, не о друзьях и любимых, это слишком тяжело и больно. О чужих, в сущности, людях – соседях. Живёт человек где-то невдалеке от тебя, встречаешься с ним во дворе, в подъезде, у водопроводной колонки, в магазине, обмениваешься ничего не значащими фразами. И человек этот не занимает никакого места в твоей жизни, для тебя его как бы и нет. Так, некая деталь дворового антуража, вроде лавочки у подъезда. И вдруг в один непрекрасный день до тебя доносятся звуки траурного марша, женские причитания. Ты выходишь на балкон и всматриваешься сверху в окаменевшие, с трудом узнаваемые черты покойника в обрамлении цветов и траурных лент. В памяти вспыхивают какие-то сценки, реплики, фрагменты бытия, связанные с этим человеком. И многое предстаёт уже в ином свете.

В прошлом году умерла одинокая пожилая женщина из соседнего подъезда. Когда-то она работала на нашем заводе, но я её совсем не знала. Однажды она подошла ко мне на улице:

– Я слышала, Вы писатель. У Вас книга вышла. Я бы хотела с Вами встретиться, рассказать Вам про свою жизнь. Может быть, напишете потом...

– Ну что Вы, какой я писатель! – отмахнулась я.

Дома мы с Давидом посмеялись по этому поводу. Хотя у меня вышло к тому времени уже немало книг, я ещё не привыкла к званию “писатель” и

иначе как в ироническом ключе его к себе не применяла. Эта женщина ещё пару раз подходила ко мне, соблазняя рассказом о своей “трудной, богатой событиями жизни, но я отделялась какими-то отговорками. И вдруг узнаю о её смерти. Вот уже год мне не даёт покоя эта её нерассказанная жизнь. Она словно предчувствовала свою смерть и спешила остаться этим рассказом хоть в чьей-нибудь памяти. Как сильна в людях эта потребность остаться, хоть частичкой своей жизни, хоть проблеском её в чьём-то сознании, вырваться из предначертанного судьбой замкнутого круга одиночества, не дать оборваться цепи времён. А я бездумно оборвала это звено. Вместе с женщиной ушла навек её тайна. Что она хотела мне поведать? Может быть, ей нужен был совет, доброе слово, просто хотелось облегчить душу исповедью? Может быть, эта её жизнь помогла бы и мне что-то понять в своей собственной? Может быть, мы друг другу были посланы свыше?..

А несколько лет назад на нашей лестничной площадке жила одна семейная пара: старик со старушкой. Он был слепой. Она каждый день водила его по двору на прогулку. Он – в чёрных очках, с палочкой, она – седенькая, всегда аккуратно одетая, шла, держа его под руку, слегка припадая головой к его плечу. Они гуляли по кругу. Такие одинокие, беспомощные, трогательные.

Потом она умерла. Он долго не выходил из квартиры. Вышел в праздник 9-го мая. Я увидела его с балкона. Он сидел на лавочке: грудь в орденах, чёрные очки, палочка. Впервые один. Я смотрела, умирая от жалости. Хотелось спуститься, подойти, взять под руку, поводить по двору так же, как она. Но что-то во мне не пускало. Не условности, а ощущение, что этим сделаю ему больно. Ведь я – это не она. Я ему напомню, разбережу. Он сидел молча. За тёмными очками ничего не было видно. Что он думал? Какой ад творился в его душе?

И ещё одного соседа я не могу забыть. Он умер недавно, прошлым летом. Это был сосед сверху. Я его не любила: от него постоянно были какие-то неудобства. Он без конца что-то чинил, прибывал, стук стоял на весь дом. То и дело нас заливал, причём всякий раз отрицал свою вину, уверяя, что это якобы “по трубе”, хотя пятна расплывались в центре. А когда этот инцидент случился в очередной раз в отсутствие Давида – он был в командировке, и я заявила к нему с претензиями, так даже попытался ко мне приставать. Я тогда аж задохнулась от возмущения: мало того, что залил, так ещё и... Словом, симпатии этот человек у меня, мягко говоря, не вызывал. И вот однажды встречаю его во дворе, ведомого под руку родственницей – дочерью, что ли, которая приехала, видимо, вызванная телеграммой. Инфаркт. Я его с трудом узнала: исхудал до невозможности, трясётся весь, с палочкой, в глазах – ужас. Этот ужас говорил яснее всяких слов: он – оттуда.

Шли дни, недели. Он уже стал ходить по двору один. Быстро-быстро, вокруг дома, стуча своей палочкой, с ужасом в глазах. За ним гналась смерть. Он, казалось, слышал её дыхание и спасался бегством. Наверное, ему сказали врачи, что нужно каждый день выходить на свежий воздух, и он практически не выходил из двора. Я вспоминала, глядя на него, строки Сологуба:

Подыши ещё немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым.

Говорят: перед смертью не надышишься. Это был тот случай, когда поговорка воспринималась буквально.

У подъезда он беспомощно звал, подняв голову: “Лида!” Не мог сам открыть дверь, не мог вызвать лифт. Сидел на лавочке со стариками, с кем раньше не сидел никогда. Он жался к ним потеснее, словно хотел обмануть смерть: вот он тут, в тесном рядке с людьми, они его не выдадут ей, ведь правда? Искательно заглядывал в глаза: ведь я такой же, как они все, да? Вот я сижу здесь, дышу, смотрю, слушаю, и ничего со мной не может случиться. Боже, как он не хотел в лапы смерти! И как чувствовал её неумолимую неотвратимость.

Однажды сидела на балконе, читала. Вдруг слышу: “твою ма-ать!” Он грохнулся со своей палкой. Стоял на коленях и не мог подняться. Сколько в этом ругательстве было тоски, обречённости, отчаянья. Я подумала: это всё. Он понял, что ему не выкарабкаться, не подняться. На другой день он умер.

Собака выла, как человек. А жена была спокойна.

Качество жизни

Помню, как я сидела поздним вечером на веранде своей дачи (давно проданной и канувшей в Лету) и слушала голоса надвигающейся ночи: шорох трав и листьев, вспорхи птиц, шуршание ежовых ножек, стук падавших яблок. Это были голоса жизни – ночной, скрытой, неведомой мне днём. Вроде бы ничего не происходило: никаких событий, никаких веских поводов к стиху, но почему-то это запомнилось, отстоялось, осталось. Из таких отстоянных мгновений и состоит жизнь. Чем их больше – тем выше качество жизни.

Мы привыкли понимать под этим словосочетанием нечто другое: материальные блага, комфорт, но это всё оболочка, оформление жизни, но не главное в ней. Главное – наше ощущение её, острота и свежесть восприятия, яркость эмоций. От реальных событий, внешнего благополучия это мало зависит.

Вспомним, как мы были счастливы в детстве, в ранней юности – беспричинно, одной лишь самозабвенной радостью бытия. Потом наступает довольно длительный период машинального существования, когда человек занят учёбой, карьерой, обогащением или выживанием – кому как повезёт, когда он стремится к какой-то конкретной цели и идёт к ней, не замечая ничего вокруг. Поезд жизни мчится, и лишь мелькают перед глазами дома, перелески, чьи-то лица, закаты, рассветы, не успевая толком запомниться, запечатлеться в душе. И вот в какой-то момент поезд вдруг останавливается,

и тебя оглушает звенящая тишина. И ты замечаешь, что “жизнь, как тишина осенняя, подробна”, что она полна цветов и запахов, и начинаешь пить эту жизнь, как росинку с листа, по капельке, по глоточку. И понимаешь, что счастье – это совсем не то, к чему ты так долго неудержимо стремилась, что оно всегда было тут, рядом, его можно потрогать, послушать, ощутить кожей. Голоса ночного сада. Запах сирени. Плечо любимого. Тёплая шёрстка собаки.

Поэт слишком хорошо знает, что такое жизнь, чтобы принять за неё инерцию существования. “Когда другие рассказывают о своей жизни, – писала Цветаева, – я всегда удивляюсь нищете не событий, а восприятия: ну, школа, ну, первая любовь, ну, женитьба. Ну а остальное? Остальное либо не числится, либо его не было”. Счастье – это полнота прожитого тобой мгновения.

Принято считать, что жизнь – это сплошная цепь утрат и разочарований, непрерывное расставание с иллюзиями детства и надеждами юности, неприменный крах в конце и разбитое корыто в итоге. Но это – если воспринимать жизнь в её трагическом целом. А надо научиться воспринимать её на молекулярном, клеточном уровне, то есть на том, на котором она почти никогда не разочарует. Есть такие счастливые натуры, вечные “очарованные души”, кто способен сохранить детское умение жить здесь и сейчас, кому дан талант одухотворять сиюминутное. Это дано А. Кушнеру:

Придёшь домой, шурша плащом,
стирая дождь со щёк.
Таинственна ли жизнь ещё?
Таинственна ещё.

Ларисе Миллер:

Неслыханный случай. Неслыханный случай:
листва надо мной золотистою тучей.
Неслыханный случай. Чудес чудеса:
сквозь жёлтые листья видны небеса.
Удача, и праздник, и случай счастливый:
струится река под плакучею ивой.
Неслыханный случай. Один на века:
под ивой плакучей струится река.

Это гениально умел Пастернак:

Ты спросишь, кто велит,
чтоб август был велик,
кому ничто не мелко,

кто погружён в отделку
кленового листа?..

И правда, кто? Кто или что рождает в минуты глубинных прозрений в нас это ощущение счастья, чуда? И так мало нужно для этого.

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.
И чудо свершится...

Даже Бродский, самый трезвый и хладнокровный из всех наших поэтов, ощущал это метафизическое чудо мгновения. В. Маканин говорил, что он старается “жить моментом”. В. Жуховицкий призывал “остановиться, оглянуться”. Но можно ли научить этому, научиться счастьем, поймать синюю птицу за хвост, пришпилить к бумаге солнечный зайчик?..

Золушка, не ставшая принцессой

Зеленоглазая девочка. Глаза мерцают, как звезды. С какой планеты занесло тебя в наш грешный мир? Её звали Наташа Бурмистрова. В двадцать лет ее не стало. “Астма задушила”, – мимоходом бросила встретившаяся в трамвае бывшая одноклассница. Остался сын Максимка. Мы были еле знакомы. Почему я помню тебя? Как ты стояла в вечернем сумраке возле 19-й школы, обернувшись на чей-то оклик, и так навеки застыла в моей памяти. Как летела, кружилась на коньках-снегурках серебристой снежинкой в белом кружевном платке. И растаяла в сумраке ночи... Мы ходили тогда общей компанией на каток “Динамо”. Челка. Длинные ресницы. Чуть удивленный мерцавший взгляд в свете фонарей. Помню, как зашли как-то к тебе с твоей подругой, моей одноклассницей. Ты жила в угловом доме на углу Горького и проспекта Кирова, где “Гастроном”, на квартире у родственников. Помню легкую фигурку в домашнем халатике, заспанную смущенную улыбку. Помню даже чернильное пятно на среднем пальце, дорожку на твоём чулке. Дорожка бежала по чулку вниз. Бежала в никуда, в никогда, в вечность...

Последняя случайная встреча с тобой в трамвае (в том же, где услышу потом скорбную весть). Разговор ни о чем. Как не дано нам знать своей судьбы! Мучает мысль: зачем-то ты встречалась на моем пути? Олицетворение мечты, поэзии, вечной женственности. В твоих глазах уже тогда, в школьные годы, было что-то нездешнее, что-то от иных миров. Помню, увидав тебя впервые, я восхищено записала в своем дневнике: “Почему-то она мне очень нравится, больше всех из девчонок. У нее распущенные волосы и большие зеленоватые глаза с каким-то загадочно-покорным взглядом. И вся она чем-то похожа на русалку. Сколько в ней

нежности, женственности, поэтичности!” Подруга, прочитав, подняла на смех: “О Боже! Нежная, воздушная! Вечно непричесанная, в дырявых чулках...” Сама она была в порядке: дочка известной оперной артистки и режиссера, всегда выходила к доске, как на сцену, в модном тогда перманенте, звеня цепочками, брелоками, браслетками, на высоких каблуках. Но в ее тщательно продуманном броском облике не было души. Она же мне и сообщила годы спустя эту весть о смерти Наташи мимоходом, в трамвае. И – о себе, гордо: как удачно вышла замуж за бизнесмена, как все у нее путём. И эта самодовольная пошлость торжествовала над слабым ночным отблеском бедной девочки, оставшейся в школьном прошлом, замарашки-золушки, гадкого утенка, так и не дожившей до своего лебединого звездного часа. Никто не успел увидеть, что она принцесса. Где ты, неведомый Максимка? Что ты знаешь о своей вечно юной маме?

Помню, в то время – мне было лет пятнадцать – я зачитывалась “Жан-Кристофом” Р. Роллана. И русалочий облик Наташи слился в моем сознании тогда с образом нежной меланхоличной Сабины, в которую был пылко влюблен главный герой. Пытаясь вспомнить свои давние ассоциации, я сняла с полки любимую книгу и – в это трудно поверить – она сама вдруг открылась на нужной странице.

“С легкой краской на скулах он украдкой глядел на голые худощавые руки, лениво касавшиеся неубранных волос... видел всю ее фигурку, забывшуюся в небрежно-томной позе... Не то, чтобы она была кокеткой, скорее, неряхой, и уж, конечно, не могла сравниться с Амалией и Розой, которые заботливо следили за собой. Хрупкая, миниатюрная... одетая не особенно тщательно, в старых стоптанных башмачках... Сабина тем не менее очаровывала своим молодым изяществом, нежностью... Она не прилагала никаких усилий, чтобы внушить к себе любовь”.

Жан-Кристоф видел в ней прелесть, которую никто, кроме него, не замечал, не разделял его восхищения. Это было что-то не подвластное логике, разуму, здравому смыслу. “Роза смотрела на нее беспощадным взором и видела маленькую ленивицу, неряху, эгоистку, равнодушную ко всему на свете, не занимающуюся ни хозяйством, ни ребенком... И вот такая-то понравилась Кристофу!..”

Однажды они катались с Сабиной на лодке. И вдруг он заметил тень смерти на ее юном лице. “Её личико побледнело, вокруг глаз легла страдальческая складка, она не шевелилась; казалось, она страдает, отстрадала, уже умерла. У Кристофа сжалось сердце”. Это был словно знак свыше. Через три недели Сабины не стало. Они так и не успели сказать друг другу главные слова. Я помню, как плакала, когда читала эту главу, и как в образе Сабины все время почему-то видела Наташу. Почему?! Ведь я тогда не знала, что она скоро умрет, как та французская героиня. Я не верю в мистику, но иногда бывают какие-то непостижимые совпадения и переключки литературы и жизни. Почему я вдруг вспомнила ее? Почему рука сразу открыла нужную страницу? Ведь я даже не помнила точно, в каком это томе, взяла первый попавшийся наугад.

“Я не умерла, я лишь переменила жилище, я продолжаю жить в тебе, а ты видишь меня и плачешь обо мне...” – читала я. Эта девочка словно окликнула меня сквозь годы, сквозь толщу небытия, чтобы... что? Я напряженно всматривалась в даль памяти, вслушивалась в звучащие во мне голоса. Закрывает и открывает книгу, как в детстве, когда “гадала”, ткнув пальцем в случайно выпавшие строчки. И мне выпало: “Каждый из нас носит в себе как бы маленькое кладбище, где покоятся все, кого мы любили. Они мирно спят годами, и ничто не нарушает их сна. Но приходит день – и могильный ров расступается. Мертвецы выходят из своих могил и улыбаются бескровными устами, все теми же любящими устами, любимому, возлюбленному, в чьем лоне живет их память, подобно тому, как спит ребенок в материнской утробе”.

Чувство материнства

В последнее время я ловлю себя на том, что живу как бы с головой, повернутой в обратную сторону. Это похоже на прустовский поиск утраченного времени. Пытаюсь взять след, отыскать прошлогодний снег, давно ушедший поезд, позараставшие стёжки-дорожки. Те дни – нет, минуты – нет, мгновения, когда я была по-настоящему счастлива. Каждый такой миг неуловим, воздушен, ускользает из рук, не даётся облечь себя в слова. “Мысль изречённая есть ложь”. Что же говорить о чувстве? “А душу можно ли рассказать?” И всё же попробую.

Я жила тогда на Советской в большом угловом сером доме, выходящем сразу на три улицы. Там в моей жизни и появилась Людка. Я катала обруч, и он залетел в этот подвал. В подвале жила женщина с ребёнком. Ребёнок, как я потом узнала, был не её, она была то ли родственница, то ли приёмная мать. Где была настоящая мать Людки – неизвестно. Она так ни разу и не объявилась. Не помню, как у меня завязалась дружба с этой девочкой, но скоро мы уже не мыслили жизни друг без друга. Ей было полтора годика, мне – восемь. Казалось бы, что общего. Но я, едва позавтракав (если это был выходной) или сразу же после уроков спешила к ней. Девочка тянула ко мне ручки: “Ля-ля!” Так она меня называла. Потом “Ляля” превратилась в “Няню”, потом в “Атасу”, и, наконец, она научилась выговаривать моё имя.

Людка любила меня больше своей приёмной матери. Та вообще ею не занималась, работала где-то, редко бывала дома. Над моим “шефством” она посмеивалась, слегка недоумевала, но, в общем, была ему рада. Мои недовольно ворчали, не понимая, что я забыла в том подвале. А мне Людка вмиг заменила всё: подружек, игрушки, книжки. Она была для меня живой куклой, превращавшейся на моих глазах в настоящего человечка. Я кормила её, гуляла с ней, учила первым словам, стишкам, играм. Боже, какой горячей радостью заливало грудь, когда из тёмного подвального угла мне навстречу звенел её голосок: “Атасенька пришла!”

Я запомнила одну, самую-самую счастливую минуту. Наш двор. Летний вечер. Я сижу на перекладине качелей с Людкой на коленях, мы тихонько с

ней раскачиваемся. Она прижалась ко мне стриженной головкой. Я что-то ей рассказываю, кажется, какую-то сказку. Прямо перед нами заходит солнце, огромный нежно-розовый шар. Это было так прекрасно, что-то было такое тихое, щемящее, вечное, священное в этой минуте, что я запомнила её навсегда. Это было настоящее чувство материнства, которое я испытала с этой девочкой во всю мощь души, испытала в восемь лет, чтобы потом больше не испытать никогда.

Вскоре Людка со своей приёмной матерью куда-то переехали. А я ещё много лет видела во сне её маленькую фигурку, упрямо ковляющую мне навстречу на беспомощных ножках, её тёплое тельце, прижимающееся к моей груди. И плакала горько-сладкими слезами. А однажды я встретила свою Людку в трамвае. Это была высокая, очень толстая девушка с добрыми глазами и смущённой улыбкой. По этим глазам я её и узнала. Всё остальное узнать было невозможно. Она была такая огромная, выше меня ростом. Казалось, мы поменялись местами и теперь я уже была младше её. Я не знала, как мне вести себя с ней, о чём говорить. Всё перевернулось с ног на голову. Это была не моя девочка, какая-то чужая женщина, я никак не могла найти нужный, естественный тон в разговоре. Мы обменялись несколькими общими фразами, и я торопливо вышла не на той остановке. У меня было чувство какой-то невосполнимой утраты, подмены.

Но до сих пор нет-нет да и приснится та – маленькая, тёплая, единственная. То, что мы любим – никуда не уходит, оно навеки остаётся там, где мы его когда-то оставили, в нашем прошлом, в нашем сердце. И тогда нет слова “было”. Есть только слово “Есмь”.

Родство

Обычная схема отношений: сначала праздник любви, романтика первых свиданий, потом – серые будни семейной жизни. У нас было не так. Праздник пришёл потом, когда мы пережили все трудности, сплетни и нервытрепки, преодолели все преграды и смогли, наконец, соединиться. Он слишком дорогой ценой нам достался – этот семейный покой, чтобы сетовать потом на какую-то его – неизбежную с годами – пресность и не ценить того, чего мы так долго были лишены.

Милый мой, где, на каком перекрёстке
можно нам будет опять повстречаться?
Холодно светятся лунные блёстки
в окнах, куда мне нельзя постучаться.

(Стихи из тех лет)

Самое мучительное было тогда – это невозможность уединения. Всюду глаза и уши, знакомые, знакомые знакомых, наушники и стукачи. Всем было до нас дело. Мы сбегали от них в лес, на кладбище, за город (“и ни один не

видел гад, как я тебя целую”, – писал Б. Чичибабин), но всё равно находился какой-нибудь гад, который отравлял нам радость этих с трудом выкроенных минут встреч. Дошло даже до разбирательства на парткоме, где меня пытались – безуспешно – наставить на путь истинный (см. книгу “Истории моей любви”). И вот – о счастье! – наша первая – нелегальная – поездка на юг, в Сочи.

Первое и главное чудо было для меня не море, к которому мы тотчас побежали, едва сошли с поезда, а то, что можно было наконец идти рядом, под руку, и даже в обнимку, не таясь, не озираясь и не шараясь от каждой тени. Я долго не могла к этому привыкнуть, и даже сейчас – спустя 20 лет – когда мы идём вместе, прижимаю к себе его руку как дорогой трофеей, завоёванный в тяжёлом бою.

У нас всё было не так, как у всех, хотя внешне шло вроде бы по шаблонному, проторённому миллионами пути: отпуск, юг, курортный роман... Я не буду писать о счастье лунных ночей и утренних пробуждений, о морских купаньях и прогулках по парку, концертных вечерах в Летнем театре и ужинах в ресторанчике под открытым небом – все эти милые радости всем хорошо известны и представимы. Я расскажу о другом.

В первый наш ресторанный вечер я неосторожно выпила лишнего и с непривычки опьянела. Давид не столько довёл, сколько донёс меня до нашего жилья. Там меня стало рвать. Затуманенным взором в полубеспамятстве я видела, как он мыл за мной пол, вытирал мне лицо, укладывал, переодевал. Он делал это с такой нежностью, заботой, беспокойством за меня, с таким отсутствием малейшего намёка на брезгливость, будто не вытирал, а целовал, что я, как ни была пьяна, поняла, всей кожей почувствовала, под какой я надёжной и несокрушимой защитой. Это было чувство безграничного доверия и покоя, похожее на то, с каким, лёжа на спине, бездумно и блаженно качаешься на тёплых ласковых волнах моря. Как это ни странно, но именно в этот миг мне открылось, что такое истинная любовь. И даже не любовь, а то, что я ставлю неизмеримо выше, что гораздо бесценнее для меня – Родство.

Когда-то в детстве я написала стихотворение о родном городе, где были такие строчки:

Мне с тобою тепло, мне с тобою легко,
пусть другие зовут красотой, новизной,
но ведь слову “красивый” во веки веков
не сравниться по силе со словом “родной”!

Давид стал для меня таким родным городом, моим отечеством, тем, с чего начинается родина, – все самые высокие слова и святые понятия не выше того, чем он для меня стал! И надо было напиться, чтобы понять это окончательно и навсегда. (Из более поздних стихов – шуточных: “Меняю ваши баксы на рубли/ Ведь у советских собственная гордость,/ Всех расписных красавчиков земли/ Меняю на единственную морду”/).

И ещё один вечер запомнился мне из того благословенного месяца в Сочи. Наверное, самый счастливый в моей жизни. И опять было по принципу: не было бы счастья, да несчастье помогло. Я простудилась, заболела. Лежала, укутанная Давидом в тщательно подоткнутое одеяло, и слушала, как он читал мне вслух “Винни-Пуха”. В детстве мне никто не читал сказок. Я чувствовала себя родом из детства, только гораздо более счастливого, чем моё. Я помню это как сейчас: уютный свет ночника, любимый голос, читающий мне о приключениях забавного медвежонка, мой весёлый хохот... Это был уже не курортный роман. Это была семья.

Срослись, как сломанные кости,
сроднились, намертво слились.
Вселенной временные гости,
мгновенье заклинаю: длись!
Под тёплой крышею ладони
укроюсь у тебя в горсти.
О, как никто ещё не понял,
что значит счастье обрести!

Как мне его перенести?!..

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭССЕ

Два медведя в одной берлоге

Когда так говорят – подразумевают, что не могут ужиться вместе люди одной профессии, схожего темперамента, особенно, когда оба – лидеры или творцы. Пастернак в ответ на шуточный совет жениться на Цветаевой с содроганием говорил: “Не дай Бог. Марина – это же концентрат женских истерик”. И это при всём их запредельном понимании душевных глубин друг друга, многолетней переписке на самой высокой ноте. Марина была влюблена в Пастернака, он единственный, кто соответствовал масштабу её личности, градусу её чувств и страстей.

В мире, где всяк сгорблен и взмылен,
знаю, один мне равносильен.
В мире, где столь многого хотим,
знаю, один мне равномогущен.
В мире, где всё – плесень и плюш,
знаю, один ты равносущ
мне.

В письме Черновой-Колбасиной Цветаева пишет: “Мне нужен Пастернак – Борис – на несколько вечерних вечеров – и на всю вечность. Если меня это минует – то жизнь и призвание – всё впустую”. Но в этом же письме отрезвлённо сознаёт: “Наверное, минует. Жить я бы с ним всё равно не сумела, потому что слишком люблю”. И когда Пастернак несколько лукаво спрашивает у неё в письме, когда ему к ней приехать, сейчас или через год (когда любят – не спрашивают!), Цветаева великодушно отпускает его. (Знает – всё равно бы не приехал).

Из письма Пастернака Цветаевой: “Не старайся понять. Я не могу писать тебе, и ты мне не пиши... Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно... Я тебе не могу рассказать, зачем так и почему. Но так надо”.

Из письма Цветаевой Пастернаку: “Уходя со станции, садясь в поезд – я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала”.

Кого же взяли они с собой, в свою реальную жизнь, эти гениальные люди? Марина – С. Эфрона, неудавшегося писателя, актёра массовок, дилетанта во всех областях жизни, великодушно умевшего прощать все её влюблённости и измены. Пастернак – Зинаиду Нейгауз, красавицу, которая “прекрасна без извилин”. (Ахматова охарактеризовала её более жёстко: “Зина – дракон на восьми лапах, грубая, плоская, воплощённое антиискусство”). Что же это, слепота, ослеплённость плотью и статью (“красавица моя, вся статья, вся суть твоя мне по сердцу”)? Или инстинкт поэтического выживания, самосохранения?

Зинаида Николаевна прекрасно вела дом, умело организовывала быт, необходимые условия для работы поэта, в доме царили чистота, идеальный порядок, неукоснительно соблюдался режим. Вкусные обеды, хрустящее от крахмала бельё, ухоженный сад, послушные дети – всё было на её плечах. Она была образцовой женой и хозяйкой, и Пастернак очень ценил это в ней. Настолько, что посвятил ей бессмертные строчки:

И я б хотел, чтоб после смерти,
как мы замкнёмся и уйдём,
тесней, чем сердце и предсердье,
зарифмовали нас вдвоём.

Это их-то зарифмовали?! – с ужасом думала я, когда читала насквозь бытовые, приземлённые письма З. Нейгауз Пастернаку. Контраст с его письмами – разителен. Никаких философских глубин, лирических всплесков, – бытовые заботы, демонстративная отстранённость от жизни мужа. Когда на вечере поэта просили почитать стихи, он обращался поверх голов к своей Зине, сидевшей в зале: “Что мне почитать, Зинуша?” – “А я почём знаю?” – пожимала плечами жена.

Как могли сосуществовать “в одной берлоге” два столь разных человека? Она не понимала его стихов и бесцеремонно говорила об этом при всех, безапелляционно советуя поэту писать “попроще”. А Пастернак только смеялся, обещая, что для неё он готов это сделать.

И ведь в самом деле! “Второе рождение” написано совсем другим языком – ясным, прозрачным. С этой книги начинается то, что мы зовём “поздним Пастернаком”, когда он впадает, “как в ересь, в неслыханную простоту”. Ранний Пастернак – это сгущённая метафоричность, эксцентрика, упругий ритм, бурная стихия. Поздний порывается исправить раннего, словно стесняясь его бормотания, сумбура, непричёсанного словаря. Поздний Пастернак – строг и точен, подтянут и классичен. Он понятен. Понятно, как это сделано. Ушло ощущение чуда, волшебства, ушла непредсказуемость, обаяние юности. Появились дидактические нотки: “Быть знаменитым – некрасиво”, “не спи, не спи, художник”. Но и поздний Пастернак был для З. Нейгауз так же безнадёжно далёк, как и ранний.

Далека от идеала и другая избранница поэта – золотоволосая Лара – Ольга Ивинская. Лживая, алчная, обворовывавшая людей, сидевших с ней в лагере, женщина, которую ни Ахматова, ни Лидия Чуковская, ни множество других порядочных людей не пускали на порог своего дома. После смерти Пастернака Ивинская, как бы в ответ на все эти обвинения, писала в стихах:

И скажу я тебе, вздыхая,
в беспощадном сверканье дня:
пусть я грешная, пусть плохая,
ну а ты ведь любил меня!

Да, он любил, не верил плохому, что ему говорили о ней. Поэты способны любить созданный в их воображении образ, мало имеющий общего с реальностью. Как пел Вертинский: “Я могу из падали создавать поэмы, я могу из горничных делать королей”. Он продолжал видеть в ней своё.

Когда наше пушкиноведение клеймило Наталью Гончарову как недостойную подругу поэта, Пастернак, видимо, находя в этом какую-то аналогию с собой, писал: “Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щёголеве и позднейшем пушкиноведении, и всё было бы в порядке”.

Сейчас мы уже далеки от ханжества тех времён, давно не считая Наталью Гончарову злодейкой, сгубившей поэта, но и теперь нам трудно понять, как мог Пушкин любить этот “чистейшей прелести чистейший образец” (в этом определении есть что-то дистиллированное, в сущности, это та же красота “без извилин”). Цветаева пишет: “Гончарова вышла за Пушкина без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодухотворённой плоти – шаг куклы!” И если Пастернак любил свою неодухотворённую супругу за то, что она давала ему возможность оставаться собой, заниматься творчеством, не отвлекаясь на быт, то Пушкин, по меткому замечанию Дарьи Финкельмон, “переставал быть поэтом в её присутствии”. Если Пастернак и Зинаиде продолжал писать на той же высокой духовной ноте, что и Цветаевой, нимало не смущаясь тем, что они говорят с ней на разных языках, то письма Пушкина Натали не сравнить с его же письмами Воронцовой, Сабаньской или Керн, полными страсти, огня, поэзии, – они нудные, нравоучительные, прозаичные. Он пишет ей, как ребёнку, инструктируя, что делать и чего не делать: “платишь деньги, кто только не попросит, этак хозяйство не пойдёт... Не сиди, поджавши ноги, и не дружись с графинями, с которыми нельзя кланяться в публике... На хоры не ездят – это не место для тебя”. Пушкин не говорит с женой в письмах ни о литературе, ни о творчестве, а пишет о том, что ей может быть интересно, что доступно её разумению: сплетни, деньги, куда ехал, что сломалось в экипаже, кого встретил, что съел и был ли понос.

Письма Натали к нему до нас не дошли, но, судя по обиженным и недовольным ответам Пушкина, были сухи, лаконичны, формальны. Более того, она не всегда их и писала-то сама: когда была невестой, то ей их диктовала мать. “Письма Ваши короче визитной карточки”, – упрекает её Пушкин. А Вяземскому жалуется: “Что у неё за сердце? Твёрдую дубовой корою, тройным булатом грудь её вооружена”.

К поэзии, литературе Натали была глубоко равнодушна. Но, не интересуясь стихами, строго следила за тем, сколько ему за них платят, вмешиваясь в переговоры с книгопродавцами и требуя высоких гонораров. И что, с такой женщиной поэт мог быть счастлив? Хотя бы теоретически? Мне кажется, и не будь Дантеса, этот брак был бы обречён. Если нет гармонии в отношениях, понимания главного в человеке – не может быть и счастья. “Ведь счастье – это когда тебя понимают”.

Читаю у Бориса Рыжего в стихах, посвящённых жене Ирине:

Ни разу не заглянула ни
в одну мою тетрадь.
Тебе уже вставать, а мне
пора ложиться спать.

А то б взяла стишок и так
сказала мне: дурак,
тут что-то очень Пастернак,
фигня, короче, мрак.

За шутливым укором, иронией, скрывается горечь. Жена ни разу (!) не заглянула в тетрадь поэта, талантливейшего поэта, надо добавить. Неужели же эта нравственная глухота лучше второго “медведя” в твоей берлоге, который, по крайней мере, “поймёт всё то, чем ты живёшь” по принципу: “рыбак рыбака видит издалека”?

Но и союзы между поэтами редко приносили счастье. Не ужились Ахматова с Гумилёвым, с Шилейко, Евтушенко с Ахмадулиной, Яшин не ушёл из семьи к Тушновой, Блок не полюбил Кузьмину-Караваеву, несмотря на её стихи и письма, которые, кажется, тронули бы и камень, а чем закончилась любовь Николая Рубцова с Людмилой Дербиной – страшно вспомнить.

Однако бывают и счастливые исключения. Бывают медведи, прекрасно уживающиеся в одной берлоге. Д. Мережковский и З. Гиппиус, которые за всю свою долгую жизнь ни разу не расставались и ни одной ночи не провели врозь. Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал, которым любить друг друга не мешал даже третий лишний, чей союз выдерживал все многочисленные влюблённости и романы на стороне и только крепче от этого становился.

Брачный союз Ф. Сологуба и А. Чеботаревской был на редкость слаженным и цельным. Они даже называли друг друга одним именем: “Малим” – именем, никому более не принадлежащим, как бы ниспосланным из лучшего мира:

В небе ангелы сложили
имя сладкое Малим
и вокруг него курили
ароматом неземным.

Сладкий звук, знакомый зорям,
чародейное питьё.
За него мы не поспорим,
чьё оно, моё, твоё?

Блок писал, что, “женившись и обрившись (Сологуб сбрил бороду), Сологуб разучился по-сологубовски любить Смерть и ненавидеть жизнь”. Он посвятил жене книгу стихов “Одна любовь”, которая открывалась строчками:

Ты только для меня. На мраморе иссечен
двойной завет пути; и светел наш удел.
Здесь наш союз несокрушимо вечен,
он выше суетных, земных, всегдашних дел.

Цикл “Свирель” (27 стихотворных стилизаций в духе французской пасторальной поэзии) был написан Сологубом, чтобы, по его словам, “её позабавить”. Уезжая в турне читать лекции, Сологуб из каждого города писал письма “своей малимочке” с подробным отчётом о своих делах и впечатлениях.

Чеботаревская много сделала для пропаганды творчества Сологуба: составила объёмистый сборник статей о нём, объединив статьи из разных журналов, написала биографический очерк о Сологубе для истории новейшей русской литературы, её стараниями осуществлялись литературные диспуты, вечера, на которых Сологуб оказывался в центре внимания, она была настоящим его ангелом-хранителем. Можно сказать, весь жизненный путь Сологуба разделяется на два основных отрезка – до встречи с Анастасией Чеботаревской и после заключения с ней брачного союза. До 1908 года жил и работал писатель Ф. Сологуб, а после 1908 года определилось новое жизненное и творческое двуединство: Ф. Сологуб и А. Чеботаревская.

Сологуб очень тяжело переживал самоубийство жены. Он написал посвящённый ей цикл “Анастасия”, который по своей пронзительной проникновенности напоминает реквием.

Весь мир окутан знойным бредом,
но из ущелий бытия
к тебе стремлюсь я верным следом,
любовь единая моя.

Он был с ней по-настоящему счастлив. Правда, в Неву Анастасия бросилась от тоски по другому, но Сологуб этого, к счастью, так никогда и не узнал.

Г. Иванов и И. Одоевцева поженились в сентябре 1921 года и прожили вместе 37 лет, до самой смерти Г. Иванова. В молодости тот имел репутацию избалованного женским вниманием сердцееда, пресыщенного и слишком ленивого, чтобы терпеливо ухаживать за юной девушкой. Никто, да и сам он никогда не думал, что окажется способен на такой порыв душевной теплоты, такую сумасшедшую нежность:

Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,
весточка, царापинка, снежинка, ручеёк.
Нежности последыш, нелепости приёмыш,
кофе-чае-сахарный потерянный паёк.

Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
в одеяльной одури, в подушечной глуши,
белочка, метёлочка, косточка, утёнок,
ленточкой, верёвочкой, чулочком задуши.

Вспоминая Г. Иванова, Одоевцева определила их отношения строками из стихотворения их ближайшего друга Г. Адамовича:

Брезжил над нами какой-то особенный свет,
какое-то лёгкое пламя, которому имени нет.

Они встретились впервые в Летнем саду. Эту встречу Ирина Одоевцева будет вспоминать потом в стихах до мельчайших подробностей:

Но была ли на самом деле
эта встреча в Летнем саду
в понедельник, на Вербной неделе,
в девятьсот двадцать первом году?

Я пришла не в четверть второго,
как условлено было, а в пять.
Он с улыбкой сказал: “Гумилёва
Вы бы вряд ли заставили ждать”.

Я смутилась. Он поднял высоко,
чуть прищурившись, левую бровь.
И – ни жалобы, ни упрёка.
Я подумала: это любовь.

Летний сад – это не только место их свиданий и прогулок их юности, на чужбине он стал ностальгической грёзой двух поэтов, образом того потерянного рая, потерянного мира, куда они всю жизнь мечтали вернуться.

И опять в романтическом Летнем саду,
в голубой белизне петербургского мая,
по пустынным аллеям неслышно пройду,
драгоценные плечи твои обнимая, –

писал Г. Иванов. Он продолжал и в старости любить Ирину Одоевцеву с той же страстью, мучительной нежностью и тоской, что и в молодые годы. И в

его поздних, предсмертных стихах ему удалось с удивительной непосредственностью и убедительностью передать и выразить то мучение любви, сплетённое со счастьем, то “блаженство и безнадежность”, которые в старости, по Тютчеву, обостряются до крайности и по существу друг от друга неотделимы.

В этом томном, глухом и торжественном мире нас двое,
больше нет никого. Больше нет ничего. Погляди:
потемневшее солнце трепещет, как сердце живое,
как живое влюблённое сердце, что бьётся в груди.

...Утомительный день утомительно прожит,
голова тяжела, а над ней
розовеет закат – о, последний, быть может,
всё нежней, и нежней, и нежней...

И то, что они оба были поэты – только сближало их.

Ивана Елагина (настоящая фамилия Матвеев) в 1937 году свела судьба с талантливой, мало известной у нас поэтессой Ольгой Анстей (Штейнберг). В одном из писем она писала о своём будущем муже: “Он так же сумасшедше, сомнамбулически живёт стихами, как и я. Читаю свои стихи, он – свои, потом он мои на память, а потом мы оба взапуски, захлёб – кто во что горазд – всех поэтов – от Жуковского до Ходасевича и Пастернака”. В июне 1938 года Иван и Ольга тайно в два часа ночи обвенчались в церкви. Из стихов О. Анстей:

Я человека в подарок получила,
целого, большого, с руками и ртом!
Он ест, сопит, и что бы ни спросила –
он помолчит и ответит потом.

Я в тёплые волосы ему подышала,
никогда обещала ему не врать,
на него одного смотреть обещала,
а больше не знаю, как с ним играть!

У Елагина в поэме “Память” тоже есть строки о ней:

В годы те была моей женой
Анстей. И её стихи со мной.

Их близость была так велика, что они даже стихи писали вместе, один мог за другого продолжить начатую строчку. В 1943 году Иван и Ольга издали совместный поэтический сборник, отпечатанный на машинке. На обороте титульного листа был обозначен “тираж”: “в количестве 1 экз., из

коих один нумерованный”, а на обложке проставили – О. Анстей и И. Елагин. Сборник этот по сей день хранится в США. (Кстати, Анстей – первый поэт, которая написала о зверствах фашизма в Бабьем яру. Многие считают, что первыми об этом сказали И. Эренбург, Л. Озеров, Е. Евтушенко, но это была О. Анстей, и написала она об этом еще в декабре 1941 года. Только тогда точное место расстрела было неизвестно, и стихотворение Анстей было названо “Кирилловские яры” – по названию всего района, где немцы ликвидировали заключённых).

День Победы застал Матвеевых неподалёку от Мюнхена, в казарме “для перемещённых лиц”. В комнате, отгороженной от общего барака серыми одеялами, началась для Матвеевых послевоенная жизнь. Елагин писал об этом:

А мы уже в сотом доме
маемся кое-как.
Нет для нас дома, кроме –
тебя, дощатый барак!

Мой дом – берлога,
мой дом – нора,
где над порогом –
тень топора.

В августе 48-го Ольга Анстей уходит от мужа к другому, эмигранту первой волны князю Николаю Кудашеву. У Елагина есть пронзительные строки об этом:

Так же звёзды барахтались в озере,
был и месяц – такой же точь-в-точь.
Разметала последние козыри
перед нами любовная ночь.

Если б знать, что дано нам выгореть,
что любовь уплывёт на плоту,
что у дома простая изгородь
проведёт между нами черту,

что дорога разлук неминуема,
что она уже рядом легла,
я убил бы тебя поцелуями,
я бы сжёг наше детство дотла.

В 1950 году, вскоре после приезда в США, Матвеевы развелись. Но та духовная связь, что их объединила, не прерывалась.

Сверкают ресторанные хлева
копеечным, заученным весельем.
Я прав, что я один. И ты права,
что эту ночь с тобою мы не делим!

И я, в моей кромешной маете,
и ты, в своём скитании бессонном –
Медведицу отыщем в высоте,
заломленную гневно над Гудзоном.

Мы правы, друг от друга отстранясь,
упившись каждый собственной мукой.
Что может быть сильнее, чем эта связь,
пронизанная звёздной разлукой?

В 1951 году О. Анстей выходит замуж за поэта, прозаика и литературоведа Бориса Филиппова. Елагин откликается на это событие стихами, по которым видно, что он всё ещё любит её, что замужество бывшей жены причиняет ему боль.

Отпускаю в дорогу, с Богом!
Отдаю тебя всем дорогам,
всем обманывающим и сулящим,
по которым мы жизни тащим.
Отдаю и реке, и саду,
и скамье, где с тобой не сяду,
и кусту отдаю, и оврагу,
и траве, где с тобой не лягу,
и предутреннему перрону,
где, прощаясь, тебя не трону.
Отдаю всем заливам синим,
где мы в воду камней не кинем,
всем перилам и всем оградам,
где с тобой не застынем рядом.
Отдаю тебя всем соблазнам,
встречам лёгким, весёлым, праздным,
и печальным горячим встречам
в час, когда защититься нечем.

Однако и этот брак Ольги оказался неудачным, он продлился менее года. Она, по-видимому, жалела впоследствии о своём уходе, поняв, что никто ей не может заменить Ивана. И, наверное, вернулась бы к нему, но у Елагина была уже другая семья. Об этом говорят её стихи, написанные незадолго до смерти:

Я примирилась в сущности с судьбой,
я сделалась уступчивой и гибкой.
Перенесла – что не ко мне – к другой
твоё лицо склоняется с улыбкой.

Не мне в тот зимний именинный день
скоблённый стол уставить пирогами,
не рвать с тобою мокрую сирень
и в жёлтых листьях не шуршать ногами.

Но вот когда подумаю о том,
что в немощи твоей, твоём закате
со шприцем, книжкой, скатанным бинтом –
другая сядет у твоей кровати,

не звякнув ложечкой, придвинет суп,
поддерживая голову, напоит,
предсмертные стихи запишет с губ
и гной с предсмертных пролежней обмоет –

и будет, став в ногах, крестясь, смотреть
в помолодевшее лицо – другая...
О Боже мой, в мольбе изнемогаю:
дай не дожить... Дай прежде умереть.

Бог услышал её молитвы, дал умереть прежде. На книге “По дороге оттуда” (1953) Елагин проставил посвящение: “О.А.” – Ольге Анстей. Хотел подготовить к печати сборник её стихов. Не успел – помешала смерть.

Поэты редко пишут о счастливой любви, тем более – о любви семейной. К таким редким исключениям относится и петербургский поэт Александр Кушнер. Когда в разговоре с ним И. Бродский посетовал, что его одолевают письмами поклонницы, и спросил, не пишут ли Кушнеру женщины такие письма, тот ответил: “Нет. По моим стихам видно, что я люблю свою жену”. Жена А. Кушнера Елена Невзглядова – поэт, филолог, литературовед. Её научные работы об интонационной теории стиха, опубликованные в толстых журналах, стали событием в отечественном литературоведении. Они женаты уже более тридцати лет, у них взрослый сын, но стихи Кушнера, посвящённые жене, по-прежнему дышат юношеским восторгом и первозданностью чувства:

Я и сегодня люблю тебя так,
как я любил тебя в восьмидесятом...

х х х

Какое счастье, благодать,
ложиться, укрываться,
с тобою рядом засыпать,
с тобою просыпаться.

...Всю ночь в наш сон ломился гром,
всю ночь он ждал ответа:
какое счастье – сон вдвоём,
кто нам позволил это?

х х х

Вот счастье – с тобой говорить, говорить, говорить!
Вот радость – весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью...

Ещё более трогателен союз поэтов – Инны Лиснянской и Семёна Липкина. Их стихи – как зеркало, что не может солгать, отражая суть их отношений, правду чувства. Прожив вместе полвека, они сумели сохранить пылкость и свежесть юношеской любви.

Я курю фимиам, а он пенится, словно шампунь,
я купаю тебя в моей глубокой любви... –

пишет И. Лиснянская в стихах 2001 года. Она посвящает Липкину книгу под названием “Гимн”, где все стихи – во славу любимого.

У тебя в глазах вековечный растаял лёд,
у меня в глазах вековая застыла темь.
По-научному мы как будто – с катодом анод,
по-народному мы – неразлучны, как свет и тень.

х х х

Я – твоя Суламифь, мой старый царь Соломон...

Оказывается, и в 75 можно любить, восхищаться, ревновать.

В уходящую спину смущённо смотрю из окна...
Твоя ревность и трогательна, и смешна.
Неужели не видишь, что я и стара, и страшна,
и помимо тебя никому на земле не нужна?

Но это не кажется смешным и нелепым, когда читаешь стихи Лиснянской и Липкина, посвящённые друг другу, а вызывает чувство белой зависти и радости за их счастье.

Ничего из любви и в старости не ушло:
ты, как прежде, нежности шепчешь мне на ушко,
и, как Парка вдевает нитку судьбы в ушко,
так в кольцо обручальное я продеваю строку
и восторг прикрепляю к рифмованному узелку:
не встречала прекрасней тебя никого на своём веку!

В 2003 году Семёна Липкина не стало. Книга И. Лиснянской “Без тебя” (2004) – обнажённый нерв расставания, сплошной крик боли. Здесь все стихи посвящены его памяти. Они рождены в порыве избыть, выплакать неостывшее горе.

Я оплачу тебя под напев былинный,
под горчайший напев, но славный,
я оплачу тебя, как Христа Магдалина,
и как Игоря Ярославна.

“Эта книга писалась мной в великой скорби”, – слова автора с форзаца издания. Говорить о таких стихах со стороны невозможно, о них нужно судить уже в другой системе координат.

И мне, так долго живущей,
простит овдовевший стих,
который мычит, скорбя,
мычит из последних сил,
что он воскресит тебя,
как Лазаря воскресил.

Вот пример того, что два медведя не только ужились в одной берлоге, но не могут жить друг без друга. И мне кажется, это высший пилотаж, высшая степень счастья – когда встретишь своего второго Медведя. И тогда, как в сказке Шварца, он обернётся для тебя прекрасным принцем.

Самое дорогое

Все знают о бессмертной любви поэта к Прекрасной Даме, любви-мечте, любви-призраке, мало имевшей общего с любовью к конкретной женщине из плоти и крови. Однако до встречи с Любой Менделеевой Блок уже пережил свою первую любовь – к зрелой замужней женщине, действительной статской советнице, ровеснице своей матери Ксении Михайловне Садовской,

вошедшей потом в его поэзию циклом К.М.С. – бессмертным шедевром любовной лирики. Он назовёт её в стихах “тением первой любви”.

В тёмном небе роскошная светит луна,
в сердце нашем огонь, в душах наших весна. –

С этого стихотворения, датированного 31 октября 1897 года, начинается первая рукописная тетрадь стихов семнадцатилетнего Блока.

В тихий вечер мы встречались,
(сердце помнит эти сны).
Дерева едва венчались
первой зеленью весны.

Ясным заревом аллея,
уводила вдоль пруда
эта узкая аллея
в сны и тени навсегда.

Эта юность, эта нежность –
что для нас она была?
Всех стихов моих мятежность
не она ли создала?

По вечерам в назначенный час он поджидал её в наёмной карете с зашторенными стёклами. Были и хождения под окнами, и уединённые прогулки, жаркие письма, беглые свидания в маленьких гостиницах. Всё было... Но в августе 1898-го на поэта нахлынула новая любовь, и всё, что было связано с К.М.С. – отошло на задний план. Появляются стихи, где она упоминается как “любовница, давно забытая”. “Прощай, в последний раз жестоко я обманул твои мечты...”. “Ты не обманешь, призрак бледный, давно испытанных страстей”. Появляются и совсем жестокие ноты: “и разве, посмотрев на вянущий цветок, не вспомнится другой, живой и ароматный?” Всё кончилось, как и должно было кончиться между юным гимназистом и женщиной, вступившей в пятый десяток. Но в жизни Блока ничего не проходило бесследно. Банальный курортный роман обернулся чем-то большим, серьёзным. И чем дальше уходила эта любовь в прошлое, тем больше она очищалась от всего наносного, случайного, как бы заново возрождаясь в первоначальной ценности и свежести юношеского чувства.

Иль первой страсти юный гений
ещё с душой не разлучён,
и ты навеки обручён
той давней, незабвенной тени?

Вскоре до Блока дошёл ложный слух о смерти Садовской. “Однако кто же умер? Умерла старуха. Что же осталось?” И он погружается в “синеву воспоминаний”:

Жизнь давно сожжена и рассказана,
только первая снится любовь.
Как бесценный ларец перевязана
накрест лентою алой, как кровь.

И когда в тишине моей горницы
под лампадой томлюсь от обид,
синий призрак умершей любовницы
над кадилом мечтаний сквозит.

Но Ксения Садовская тогда была ещё жива. Судьба её была печальной. Тяжело и подолгу болеющие дети, старый нелюбимый муж. Потом взрослые дети разлетелись в разные стороны, муж умер. В 1919 году она, еле живая от голода, идёт пешком в Одессу к сыну. По пути нищенствовала, собирала колосья пшеницы. В Одессу пришла с явными признаками душевного заболевания и попала в больницу. Врач, лечивший Садовскую, был поклонником Блока. Он обратил внимание на полное совпадение имени, отчества и фамилии своей пациентки с блоковской К.М.С. (к тому времени эти инициалы были раскрыты в литературе о Блоке). И выяснилось, что старая, неизлечимо больная, нищая, раздавленная жизнью женщина и воспетая в стихах красавица – одно и то же лицо. О посвящённых ей стихах Садовская услышала впервые. Когда ей их прочитали, она заплакала.

Унесённая белой метелью
в глубину, в бездыханность мою,
вот я вновь над твоею постелью
наклонилась, дышу, узнаю.

Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи,
я сквозь тёмные ночи – в венце.
Вот они – ещё синие очи
на моём постаревшем лице!

В твоём голосе – возгласы моря,
на лице твоём – жала огня,
но читаю в испуганном взоре,
что ты помнишь и любишь меня.

В 1925 году Садовская умерла. Её похоронили на Одесском кладбище. И тут произошло самое удивительное в этой истории. Оказывается, потеряв решительно всё, старуха сберегла единственное – пачку писем, полученных

более четверти века назад от влюблённого в неё гимназиста и студента. Тоненькая пачка была перевязана алой лентой. “Накрест лентою алой, как кровь”.

Что нам остаётся от тех, кого мы любим? От самих себя прежних?

Незадолго до смерти Блок говорил матери, что мог бы сжечь все свои произведения, кроме стихов о Прекрасной Даме, что это лучшее и чистейшее из всего, что он создал. Он написал своей Беатриче 317 писем – своеобразный романтический комментарий к его стихам. Менделеева хранила их всю жизнь, как и Садовская.

Жизнь их была нерадостной. Пушкину взамен счастья хватало покоя и воли. Блок не мог утешиться и этим: “Покоя нет. Покой нам только снится”. Тоска, сознание своей вины, одиночество, вечное ожидание жены, уехавшей в Житомир к любовнику. “Мне очень надо твоего участия, – пишет он Любе. – Стихи в тетради давно не переписывались твоей рукою. Давно я не прочёл тебе ничего. Лампадки не зажигаются. Холодно как-то. То, что я пишу, я могу написать и сказать только тебе. Многого я не говорю даже маме. А если ты не поймёшь – то и бог с ним, пойду дальше так”.

Я – Гамлет. Холодеет кровь,
когда плетёт коварство сети.
И в сердце первая любовь
жива – к единственной на свете.
Тебя, Офелию мою,
увёл далёко жизни холод.
И гибну, принц, в родном краю,
клинком отравленным заколот.

Она поймёт – потом, позже. Из письма мужу: “Люблю тебя одного в целом мире. Часто падаю на кровать и горько плачу: что я с собой сделала!”

Ломка нормальных семейных отношений, которая в их кругу пышно называлась “революцией быта”, больно ударила по ним обоим. Жизнь переучивала, опровергала декадентскую ложь, заставляла учиться на собственных ошибках. Всё богочеловеческое и сверхчеловеческое отошло, осталось просто человеческое.

Не знаю, где приют своей гордыне
ты, милая, ты, нежная, нашла.
Я крепко сплю. Мне снится плащ твой синий,
в котором ты в сырую ночь ушла.

Любовь Менделеева пережила мужа на 16 лет. В 39-ом к ней пришли литературоведы, чтобы, по договорённости с ней, забрать бумаги Блока – дневники, письма. Она отворила им дверь – и через минуту упала замертво. Сердечный приступ. Словно не в силах была расстаться с самым дорогим, что у неё осталось.

Забудешь ты мою могилу, имя...
И вдруг очнёшься: пусто, нет огня.
И в этот час под ласками чужими
припомнишь ты и призовёшь – меня!

Как иступлённо ты протянешь руки
в глухую ночь, о бедная моя!
Увы! Не долетают жизни звуки
к утешенным весной небытия.

Ты проклянёшь в мученьях невозможных
всю жизнь за то, что некого любить!
Но есть ответ в моих стихах тревожных:
их тайный жар тебе поможет жить.

Своя прекрасная дама была и у М. Волошина. Тоненькая девушка с золотистыми волосами, бледно-матовым лицом и слегка раскосыми глазами, похожая на восточную принцессу. Маргарита Сабашникова. Волошин совершил ту же ошибку, что и Блок – “женился на Беатриче”.

Однажды в парижском музее Гимэ он увидел скульптурный портрет, до боли напомнивший своими чертами лицо любимой. Это была гигантская, высеченная из песчаника безвестным древнеегипетским мастером голова египетской царевны Таиах, жены фараона Аменхотепа III (XV век до н.э.). Волошин заворожённо смотрел на неё, не в силах отвести глаз. Он тут же заказал копию этой скульптуры в натуральную величину и увёз с собой в Коктебель. Этот слепок стал отныне для поэта олицетворением всего самого дорогого и прекрасного в мире.

Свет зажгу. И ровный круг от лампы
озарит растенья по углам,
на стенах японские эстампы,
на шкафу химеры с Нотре-Дам.

Барельефы, ветви эвкалипта,
полки книг, бумаги на столах,
и над ними тайну тайн Египта –
бледный лик царевны Таиах.

х х х

Не царевич я! Похожий
на него, я был иной...
Ты ведь знала: я – Прохожий,
близкий всем, всему чужой.

Мы друг друга не забудем,
и, целуя дольний прах,
отнесу я сказку людям
о царевне Таиах.

Эта сказка всегда была с ним. И потом, когда они расстанутся навсегда с Маргаритой, она будет напоминать ему о любви, о неразгаданной восточной принцессе, о городе, ставшем для него источником вдохновения. Бюст царевны Таиах и сейчас украшает Дом-музей Волошина в Коктебеле, и мы с трепетом вглядываемся в черты той, древней, поистине бессмертной Возлюбленной.

А. Ахматова как-то сказала в разговоре с Надеждой Мандельштам, что от былых любовных романов ничего не остаётся ни в душе, ни в памяти. Остаётся – когда настоящее. Таким настоящим для Ахматовой была встреча с Амедео Модильяни – на заре юности, в светлый, лёгкий, предрассветный час судьбы, когда ни он, ни она ещё не были теми, кем они станут для человечества: великой поэтессой Всея Руси и гениальным художником Франции.

Единственный из шестнадцати рисунков, на которых Модильяни изобразил Ахматову, чудом уцелевший в огне войн и революций, прожил рядом с ней все эти тяжкие полвека. В последние годы он висел у неё в изголовье. Это было единственное, что уцелело у неё от прошлого и чем она дорожила. Единственное её достояние.

Плывёт она в тумане
среди чудищ, мимо скал...
Такой, как Модильяни
её нарисовал. –

влюблённо описал этот рисунок А. Кушнер.

Однажды, когда Ахматовой пришлось с А. Найманом тащиться к нотариусу по поводу завещания о наследстве, она с тоской сказала своему спутнику, выйдя из нотариальной конторы: “О каком наследстве можно говорить? Взять рисунок Моды и уйти”. От долгой жизни, полной поэтических триумфов, любовей, браков, славы, остался рисунок шалого тосканца, залог их юной любви. Как мало, в сущности, нужно человеку. Подобно скульптору, отсекающему лишнее в камне, жизнь отсеивает, отшелушивает всё второстепенное, оставляя к концу лишь самое ценное и дорогое.

Люди без шестых чувств?..

“Попытка ревности” М. Цветаевой, написанная в ноябре 1924-го года – это уже не прежний беззащитный и жалобный “воплъ женщин всех времён”: “мой милый, что тебе я сделала?” Это – великолепное женское презрение, беспощадная ирония, оскорблённая и восставшая гордость.

..Как живётся Вам с простою
женщиною? Без божеств?
Государыню с престола
свергши (с оно́го сошед),

как живётся Вам – хлопчется –
ёжится? Встаётся как?
С пошлюиной бессмертной пошлости
как справляетесь, бедняк?

“Судорог да перебоев
хватит! Дом себе найму”.
Как живётся Вам с любовью –
избранному моему?..

Адресовано это стихотворение Марку Слониму – редактору пражского журнала “Воля России”, который опубликовал стихи Марины, а она в ответ на это стала ему писать. Позже Слоним напишет воспоминания о Цветаевой, где признается, что не испытывал к Марине ни страсти, ни безумной любви, а мог предложить только дружеское участие и поддержку. Цветаева не могла ему этого простить. “Я вся – любовь, и мягкий хлеб/ Дарёной дружбы мне не нужен!” В одном из писем подруге она с обидой пишет о Слониме: “Он определённо во мне не нуждается. Пошлю-ка я ему на Новый год тот стих, что Вам посылала: “Как живётся Вам...”. В тот вечер, по крайней мере, ему будет отравлена его “гипсовая труха”. Под “трухой” Марина подразумевала жену Слонима.

Как живётся Вам с товаром
рыночным? Оброк – крутой?
После мраморов Каррары
как живётся Вам с трухой

гипсовой? (из глыбы высечен
Бог – и начисто разбит!)
Как живётся Вам с стотысячной –
Вам, познавшему Лилит!

Рыночную новизною
сыты ли? К волшбам остыв,
как живётся Вам с земною
женщиною, без шестых
чувств?..

Ахматова не любила это стихотворение, говорила, что здесь “тон рыночной торговли”. Я с этим бурно не соглашалась, страстно сочувствуя и восхищаясь Цветаевой. Хотя что-то чуть-чуть покорабливало и меня, может быть, то, что в этом любовном стихотворении больше было упоения собой, чем чувства к другому. “Мрамор Каррары”, “Лилит”, “поправшему Синай” – ну что за мания величия, можно ли так – о себе? Но в целом справедливость цветаевских претензий сомнений не вызывала. В воображении рисовалась некая клуша “без божеств”, “без шестых чувств”, заурядная серенькая мышка, которую безмозглый Слоним предпочёл жар-птице Феникс Цветаевой. Каково же было моё изумление, когда я увидела в каком-то журнале фото той самой “трухи гипсовой”, жены адресата стихотворения. Ею оказалась Татьяна Поберс, урождённая Ламм, известная исполнительница русской, а позднее советской классики. “От Глинки до Шостаковича” – так назывался цикл её концертов. Фото было сделано с конверта пластинки певицы, выпущенной в Голливуде вскоре после войны.

С обложки журнала на меня смотрела женщина необыкновенной красоты с удивительно тонкими, одухотворёнными чертами лица. “Ничего себе “труха!” – поперхнулась я, вспомнив эпитеты, которыми награждала эту женщину Марина, никогда, впрочем, её не видевшая, виновную лишь в том, что Цветаевой взбрело в голову писать её мужу. И как-то сразу стало вызывать недоверие всё стихотворение, все его постулаты. “Женщина без шестых чувств?” А что это такое? – задумалась я. Кого мы подразумеваем под такими людьми? Бездарных, примитивно устроенных, толстокожих? Не умеющих глубоко чувствовать и любить? Но умеет ли любить сама Цветаева, носительница не шести, а всех двадцати шести чувств, если бы таковые существовали? Она любит не человека – свою любовь, образ, созданный в её воображении, свои стихи об этом чувстве. В любви она – собственница, хищница:

Могла бы – взяла бы
в утробу пещеры:
в пещеру дракона,
в трущобу пантеры...

Вот сущность её любви. Настоящая же любовь не берёт – отдаёт. Она забывает о себе, не любит себя своим чувством, а целиком сосредотачивается на любимом. Цветаева слишком эгоцентрична для этого. Как, впрочем, все истинные поэты. А вот Сергей Эфрон – тот любил. Любил и прощал ей всё и всех: и Парнок, и Мандельштама, и Вишняка, и Родзевича, и многих других,

к которым её прибывал ураган страстей. И это была отнюдь не романтическая, а горькая и унижительная роль.

Письмо-исповедь Сергея Эфрона М. Волошину – редчайшая возможность проникнуть в его мысли и чувства, понять, каково жить с женщиной “неземной”, “с шестыми чувствами”: “Марина – человек страстей. Отдаваться с головой своему урагану для неё стало необходимостью, воздухом её жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас – неважно. Что – не важно, важно – как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаянье, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой и через день – снова отчаянье. И всё это при зорком, холодном (пожалуй, вольтеровски-циничном) уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются. Всё заносится в книгу. Всё спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно”.

Страдая невыносимо от ущемлённой гордости, от невозможности что-либо изменить, он не уходил, так как думал о ней, а не о себе, понимая, что она погибнет, если он оставит её. “Быть твёрдым до конца здесь я мог бы, если бы Марина попадала к человеку, которому я верил. Я же знал, что другой – маленький Казанова – через неделю Марину бросит, а при мариинном состоянии это было бы равносильно смерти... Я так сильно, прямолинейно и незыблемо любил её, что боялся лишь её смерти. Марина сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас, стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошённости, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами”. Он любил незаметно, неброско, естественно, как дышал. И Марина понимала это, ценила и всегда возвращалась к нему.

Самозванцами, псами хищными
я дотла расхищена.
У палат твоих, царь истинный,
стою нищая.

Но благодарность, признательность – ещё не любовь. “Пойду за ним, как собака”, – напишет Цветаева об Эфроне в порыве самоотверженности, моля Бога, чтобы он остался жив. Но “как собака” она шла не только за ним. Практически за каждым, кто поманит.

Всяк целовал, кому не лень!
Но, всех перелюбя,
быть может, в тот чернейший день
проснись белей тебя!

“Я ль, скажи мне, всех белее...”. Опять самолюбование, опять “я”, разглядывание себя в зеркале стиха.

Схожее впечатление остаётся у меня и от стихов А. Ахматовой. Женщина “с шестым чувством”? Несомненно. Какое богатство красок, какие оттенки, нюансы, извивы, переливы душевных состояний в её любовной лирике!

Было душно от жгучего света,
а взгляды его – как лучи.
Я только вздрогнула: этот
может меня приручить...

х х х

Так беспомощно грудь холодела,
но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
перчатку с левой руки.

Прекрасные стихи. Но... Когда так красиво и томно говорят о своём чувстве – вряд ли любят. Когда охвачены подлинным смятением – вряд ли будут фиксировать внимание на своих перчатках – с той или не с той они руки. Как воспевала Ахматова свою придуманную любовь к Модильяни, как пестовала свои страдания! Но любила она не Амедео – а его образ, любовно лелеемый в памяти и стихах: широкополая шляпа, плащ, красный тюльпан в петлице... Любила свои воспоминания о парижских встречах, свои строки о нём, свой портрет, сотворённый росчерком знаменитого пера... Отними весь этот французский шарм, богемный антураж – и чувство рассыплется, как песочный замок.

По-настоящему же любила Модильяни его жена – девятнадцатилетняя натурщица Жанна Эбютерн, прозванная “красной фасолинкой” за рыжеватый отлив волос. Наивная девочка без образования, без особых талантов и, как сказала бы Цветаева, “без шестых чувств”, она выбросилась из окна на другой день после похорон Модильяни, ушла вслед за своим любимым. Как же он там будет в раю без своей натурщицы? И вспоминается стихотворение Цветаевой “Пожалей...” о простой деревенской бабе, для которой любить – синоним слова “жалеть”.

– Он тебе муж? – Нет.
Веришь в воскрешенье душ? – Нет.
– Так чего ж?
Так чего ж поклоны бьёшь?
– Отойдёшь –
в сердце – как удар кулашный.
Вдруг ему, сыночку, страшно –
одному?
– Не пойму!

– Он тебе не муж? – Нет.
– Верить в воскрешенье душ? – Нет.
– Так айда! – ...Нагрудник вяжет...
Дай-кось я с ним рядом ляжу...
Зако-ла-чи-вай!

Здесь примерно та же природа чувства. Вообще природа истинного чувства всегда одна: оно не рассуждает, не упирается собой, не оформляет себя в слова и строчки. Оно способно на поступок, на жертву, на подвиг ради любимого. Поэты редко на такое способны. Их слишком занимает их внутренний мир, чтобы они могли полностью переключиться на другого.

О. Мандельштам воспевал красоту Ольги Ваксель – единственной женщины, ради которой едва не оставил жену – её яблочную розовую кожу, длинные ресницы, “ласточки круглых бровей”, “губ малину”. Она предстаёт в стихах Мандельштама в отсветах ангельской золотой овчины и в рамке романтического искусства Шуберта и классического Гёте (образ Миньоны), столь ценимых им. В этом тройном нимбе Ольга Ваксель вошла в русскую поэзию.

И всё-таки – если судить по гамбургскому счёту – Мандельштам не любил её. Да, посвящал стихи, воздал “хвалу” (ещё размышлял, сомневаясь: “возможна ли?”), однако быстро забыл с некрасивой, но удобной Надей. А муж Ольги – норвежский дипломат, бывший вице-консул в Ленинграде Христиан Йорген Твинсендаль, человек весьма деловой и практичный, не смог пережить смерти горячо любимой жены. После её самоубийства он заболел и через год умер от сердечного приступа. До конца жизни его мучал вопрос: почему??? Он написал матери Ольги, что скоро последует за ней. И действительно, в короткое время в одночасье умер. От разрыва сердца. Какое по счёту чувство точило его изнутри, заслонив собой всю радость и ценность жизни ради одной-единственной, ради мёртвой, которая была для него живой? Он не “хвалу” ей воздавал, он просто не смог без неё жить.

А. Блок – певец розовой мечты, золотых зорь и синих очей – много раз влюблялся в своей жизни. Читатели буквально млели, пьянели от его утончённой “лунатической” лирики. Вот кто, казалось бы, досконально знал “науку страсти нежной”! Но умел ли он любить? В дневнике он записывает: “Жизнь моя есть ряд спутанных до чрезвычайности личных отношений”. Барышни его преследуют, звонят. Он раздаёт визитки проституткам. А по ночам ему снится жена, которая то на гастролях, то в Житомире у любовника.

Осенью 1913-го в жизни Блока – новое бурное увлечение – актрисой Любовью Дельмас. Он увидел её в роли Кармен в петербургском оперном театре и был потрясён созданным ею образом обольстительной неукротимой испанской цыганки. Этот тип был всегда ему близок. Теперь он нашёл его полное воплощение в огненно-страстной игре и прекрасном пении Дельмас. Он посвящает ей цикл из десяти стихотворений под названием “Кармен”, вновь после Мериме и Бизе обратившись к этой теме.

Ты, как отзвук забытого гимна
в моей чёрной и дикой судьбе.
О Кармен, мне печально и дивно,
что приснился мне сон о тебе.

В том раю тишина бездыханна,
только в куще сплетённых ветвей
дивный голос твой, низкий и странный,
славит бурю цыганских страстей.

Он долго не решается с ней познакомиться, пишет анонимные письма, посылает розы. Потом знакомство состоялось. В течение двух месяцев они неразлучны. Долгие прогулки пешком, на лихачах, в таксомоторах. Белые ночи на Стрелке, ужины в ночных ресторанах, возвращения на рассвете... Он от неё без ума: “Она вся благоухает, она нежна, страстна, чиста. Ей имени нет. Её плечи бессмертны”. “Душно и без памяти”, “страстная бездна”, “я ничего не чувствую, кроме её губ и колен”.

Сама себе закон – летишь, летишь ты мимо,
к созвездиям иным, не ведая орбит...

Однако образ Кармен, который предстаёт в лирике Блока, ничего общего не имел с реальной Кармен, Любовью Дельмас. В её облике не было ничего рокового, мрачного, трагического. Напротив, весь он – лёгкий, солнечный, праздничный. Она не летела “к созвездиям иным”, не играла в романтическую страсть – просто любила. Обычная женщина, вся она была от этого, от сего мира: милая, верная, открытая, заботливая.

Очарованность Блока длилась недолго. 1 августа он записывает в дневнике: “Уже холодею”. И пишет ей прощальное суровое письмо: “Разойтись всё труднее, а разойтись надо. Всё это – только искры в пепле. Меня, настоящего, во весь рост, Вы никогда не видели! Поздно”. Она не в силах с этим примириться, плачет, забрасывает его письмами, ищет встреч. Одно из таких тягостных, бесплодных, прощальных свиданий отражено в стихотворении Блока “Превратила всё в шутку сначала...”.

Вдруг припомнила всё, зарыдала,
десять шпилек на стол уронив.
Подурнела, пошла, обернулась,
воротилась, чего-то ждала...

Мне неприятен в этом стихотворении Блок: и это “подурнела” (женщина плачет, страдает, а он не жалость к ней испытывает, не сочувствие, а холодно и отстранённо наблюдает), и эта мелочная подробность – “десять шпилек” (что, он их подсчитывал что ли, как ворон на заборе от скуки/, и это “должно

быть, навеки ушла... Что ж, пора приниматься за дело...” – Сколько равнодушия в этих словах! Рыдающая возлюбленная для него – лишь досадный эпизод, оторвавший от дела. А ведь ещё недавно писал:

Ты встанешь бурною волною
в реке моих стихов,
и я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов...

Смахнул, отряхнул, как пыль с ботинок. Так что же такое – эта пресловутая душа с шестью чувствами, если она не способна почувствовать боль близкого человека!

Когда-то она сказала ему: “Боюсь любви”. Словно предчувствовала страдание, что её ожидает. Как много это слово значило для неё и как мало для него. Блок ещё не раз вспомнит Любовь Дельмас. Потом, пытаясь объяснить, что вызвало в нём любовь к этой женщине, он долго не мог подобрать нужного слова: “Какая-то старинная женственность... да, и она, но за ней ещё: верность? земля, природа, чистота... жизнь, правдивое лицо жизни... возможность счастья, что ли? Словом, что-то забытое людьми...”. Он посвятит ей ещё одно стихотворение, в котором звучит неподдельное раскаяние и чувство неизбывной вины:

Была ты всех ярче, верней и прелестней,
не кляни же меня, не кляни!
Мой поезд летит как цыганская песня,
как те невозвратные дни...

Что было любимо – всё мимо, всё мимо,
впереди – неизвестность пути...
Благословенно, неизгладимо,
невозвратимо... прости!

И ещё одна женщина “без шестых чувств”, которая в любви оказалась сильнее, выше, ярче поэта. Мария Степановна Заболотская, вторая жена Максимилиана Волошина. Первой была “восточная принцесса” Маргарита Сабашникова, у которой были весьма своеобразные представления о любви. “Я не выношу, когда меня любят, – говорила она ему. – Ведь это борьба. Если передо мной склоняются, я хочу добить...”. Волошин уставал от неё, от её холодности, взыскательного вкуса, непомерных требований, тонкой щепетильной натуры.

Я устал от лунной сказки,
я устал не видеть дня.
Мне нужны земные ласки,
пламя алого огня...

Брак с Сабашниковой не принёс счастья поэту. Довольно скоро он сменился тройственным союзом с Вячеславом Ивановым, роковой треугольник вырос в эротический четырёхугольник с женой В. Иванова Лидией Зиновьевой-Аннибал. Одним словом, “высокие отношения”...

Однажды, вернувшись из Москвы в Петербург, Волошин не находит Маргариты в своей комнате. “Мне обидно и больно, как ребёнку, – записывает он в этот день в дневнике, – что меня не встретили, не ждали. Мне хотелось бы видеть только её, говорить только с ней”. На другой день – новая запись: “Макс, он мой учитель, – сказала мне Аморя, – я пойду за ним всюду и сделаю всё, что он потребует. Макс, я тебя никогда не любила так, как теперь. Но я отдалась ему. Совсем отдалась, понимаешь? Тебе больно? Мне не страшно тебе делать больно”. И она медленно крестила меня”.

Обманите меня, но совсем, навсегда,
чтоб не думать, зачем, и не помнить, когда... –

писал он тогда. Это была почти мольба. Но обман – слишком большая роскошь. Ему прямо, без анестезии резали правду в лицо. Вячеслав Иванов “успокаивал”: “Макс, ты не думай обо мне дурно. Ничего, что не будет свято, я не сделаю. Маргарита для меня цель, а не средство”. Высокопорядочные, тонко чувствующие, необыкновенно одарённые люди... Элита.

От всего этого кошмара Волошина спасла Мария.словно свежим ветром повеяло после угарного дыма и чада. К тому времени, когда они встретились, Волошин был уже большой литературной знаменитостью. Подвижник духовной жизни, киммерийский отшельник, художник, поэт, теософ. И – не блиставшая ни талантами, ни красотой фельдшерица. “Лицом она похожа на четырнадцатилетнего мальчишку, – пишет Волошин в дневнике, – а иногда – на пожилую акушерку или салопницу”. Она почти безграмотна, не понимает тонкой иронии и шуток, не молода – 34 года. Что же привлекло в ней поэта?

Из письма М. Заболотской Волошину: “Я у тебя. Перетёрла все полки, книг не трогала, а пауков разогнала. Извините, но постель вашу разорила. Всё перестирала: и ватные, и пикейные одеяла. И ковры, и матрацы вычистила, а то там обитатели. Так счастлива была целый день, что возилась в твоём кабинете с твоими вещами. Разговаривала про тебя с твоей матушкой. Говорила она, что ты не можешь любить. Не любил никого и не полюбишь. Страшно думать об этом. Я так неинтересна ни с какой стороны. Смею ли мечтать о чём?.. Мне страшно, Макс. Ведь я только Марусяка нелепая, смогу ли я? Я горюю, не знаю, как дождаться тебя”.

Домохозяйка при стареющем поэте? О, нет. “Мне кажется, она один из самых лучших людей, которых я встречал, – напишет потом в дневнике Волошин. –Её любовь для меня – величайшее счастье и радость”.

До встречи с поэтом Мария все годы как будто неосознанно искала применения своему единственному настоящему таланту – дару любить. Она

не смеялась над его чудачествами. Его поэтический дар был для неё вне критики и вне обсуждений. Она была готова сражаться за его признание со всем миром.

После смерти Волошина его жене предстояли десятилетия борьбы за дом поэта, за память о Максе. Каждый день она начинала с молитвы: “Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешную и помоги мне свято и честно выполнить свой долг – запечатлеть Максина светлый образ и оставить его жить в преданиях, в книге так же радостно и прекрасно, как он его пронёс в жизни среди людей”. Эта женщина сумела спасти в годы немецкой оккупации архив Волошина, сберечь его личные вещи (закапывала их в землю), сохранила всю обстановку в доме, не переставив в нём ни одного предмета. Ей мы обязаны тем, что до сих пор существует легендарный Дом поэта, превращённый позже в Дом творчества, величайший культурный центр России, место встреч писателей, поэтов, художников и других слугителей муз. И помогла ей в этом – любовь.

Так что же такое – если перефразировать Заболоцкого – любовь, “и почему её обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?” Что я, собственно, хотела сказать всеми этими рассуждениями, вызванными задевшей меня строкой из стиха Цветаевой? А то, что простые, непритязательные души нередко умеют чувствовать гораздо сильнее и тоньше, нежели творческие личности, узурпировавшие за собой эту способность и высокомерно взирающие на весь остальной мир, лишённый “шестых чувств”, копошащийся где-то там, внизу, у подножья Олимпа. Да, они не умеют так красиво выразить себя в словах и звуках, мерило их чувств – не строки, а поступки, жертвы, самая жизнь, брошенная к ногам любимых. И это тоже – талант, куда более редкий и ценный. Подлинность всегда выше искусства.

Не жалко

Когда-то просящих милостыню нищих можно было увидеть лишь изредка – где-нибудь возле церкви, на кладбище, как бы в специально отведённых для них местах. Теперь же они сплошь и всюду – в троллейбусах, в подземных переходах, у дверей магазинов, на каждом углу. “А так жалко? – И так не жалко”, – вспоминается диалог героинь Ахеджаковой и Волковой из рязановского фильма “Небеса обетованные”. Не жалко их. Не хочется подать. Рука устанет, не говоря уже о деньгах: это уже называется не подавать, а отдавать.

Что случилось с душой? Со страной? Нищие стали неотъемлемой частью пейзажа, уличного интерьера. Они стали профессиональней, машинальней, привычней, и не надрыдают, как прежде, глаз и сердце. Раньше, когда подавала, это всегда было вызвано каким-то порывом, чувством сострадания к просившему. В памяти всплывала Марфенька из “Обсерватории в дюнах” Мухиной-Петринской (книжка, которой зачитывалась в детстве), не смогая пройти мимо просившей милостыню

Христины, и не только подавшая, но и приютившая её в своём доме, обретя в ней впоследствии верного, преданного друга. Этот эпизод в книге на меня произвёл тогда такое сильное впечатление, что я долго пытливо вглядывалась в лица попадавшихся мне нищих, ища среди них свою Христину. А когда читала “Оливера Твиста”, захлёбывалась слезами от жалости к бедному мальчику, сладко мечтая найти такого голодного ребёнка и осчастливить вкусной едой.

...а я его кормлю
огромной сладостью! И плачу, –

писала Б. Ахмадулина, мучительно сострадая голодавшему Мандельштаму, и мне очень близки были эти её стихи. Помню, как позже поразили строки Рильке из стихотворения “Нищий”:

В толпу ты всмотрелся едва ли.
В них нищих приезжий гость
увидел. Они продавали
ладоней пустую горсть.

И другие, его же:

Помнишь – лишь оглянешься назад,
и они стоят в вечерней стуже
со своей улыбкой неуклюжей,
словно выкроенной из заплат.

И рука искривленной корягой
тянется к тебе, как в забытьи,
словно хочет обернуть бумагой
руки неизмятые твои.

(“Одна из старух”)

Нищий... Почём твоё горе, твои слёзы? Что ты протягиваешь нам в грубых замурзанных ладонях? Свою пропашую, бросовую жизнь? Бывает, что вид приевшейся взгляду унылой фигуры вдруг кольнёт полузабытой болью, заставит с полдороги вернуться, сунуть в руку последний двушник. У Аделаиды Герцык есть эссе “Нищая”, где она описывает вот такую погоню за нищей, которой не подала сначала, а потом совесть и страх небесного возмездия погнали её обратно, вдогонку уже ушедшей попрошайке. “И в успокоенной душе наступил мир”, – пишет она.

У меня был один приятель в юности, который ненавидел нищих и принципиально никогда им не подавал. Когда он однажды застал меня за этим занятием, то разразился гневным саркастическим монологом, после

чего мы надолго поссорились и в итоге расстались. Другая довольно распространённая позиция: неважно, подлинная беда вынуждает человека просить или это пьяница, бездельник, шарлатан, играющий на сердобольных струнах сердец прохожих, сам виновный в своём нынешнем положении. Неважно, потому что это подаяние не ему, а Богу. Эта позиция мне так же чужда, как и первая, так как в её основе лежит безразличие к человеку, к его судьбе, а есть некое самолюбование, упоение своим благородным поступком, стремление поставить “галочку” в своём духовном регистре. Ведь не нищую пожалела опомнившаяся Герцкы, а испугалась: если не подам, на меня, на моих близких падёт кара. Не желание помочь, а желание откупиться, вернуть себе нарушенный мир погнали её назад. Не христианкой была душа, а тёмной язычницей. Это было неосознанное стремление задобрить неведомую силу, защитить себя от грядущего. Поэтому в этих подаяниях всегда есть что-то постыдно эгоистичное, трусливо равнодушное: на, только не тревожь мою душу, мою совесть, не посягай на моё душевное спокойствие.

У Надежды Шаховской есть стихотворение, которое мне очень близко своим ощущением этой ситуации:

Как больно душе: до озноба, до дрожи,
когда подаяние просит прохожий,
когда тебе руку протянет просяще
иль рядом поставит потрёпанный ящик.

Нельзя осчастливить всех сырых, убогих,
не вырастут снова у мальчика ноги,
но корчится в муке душа, сознавая,
что не откупились она, подавая.

Шаховская не верующая, но это отношение я бы назвала истинно христианским.

Богоборцы

Всех поэтов можно условно разделить на две категории: верящих в Бога и атеистов (последних немного, и они не всегда пребывали в этом качестве, зачастую противореча себе в стихах). Например, Блок, который упрекал Ахматову, что надо писать стихи не как перед мужчиной, а как перед Богом, и о своих ранних мистических стихах говорил, что они писались “не во имя своё, а во имя и перед лицом Высшего”. И в то же время признавался А. Белому: “В Бога я не верю и не смею верить. Мы жалуемся на оскудение души. Но я ни за что не пойду врачеваться к Христу. Я его не знаю и не знал никогда. Пустое слово для меня”. В статье “Исповедь язычника” он высказывает резко негативные взгляды на современную церковь. Тяготился окружением З. Гиппиус, так как не мог слышать их “возобновляющуюся как холера болтовню о Христе”. Блок упорно сопротивлялся всяким

догматическим учениям и теориям: догматике православия и католичества, догматике Мережковского, догматике Рудольфа Штейнера, многочисленным догматикам Вячеслава Иванова. Это сопротивление входило в его понятие о честности, честности перед самим собой.

Очень важным для понимания мировоззрения Блока можно считать его стихотворение “Девушка пела в церковном хоре”. Блок не примет лжи во спасение. То, что обещает нам вера в облике прекрасной девушки с её сладкозвучным пением, – ложь. Истина в том, что “никто не придёт назад”. И надо иметь мужество глядеть в глаза жестокой реальности. Каждое своё публичное выступление Блок неизменно заканчивал этим стихотворением. Значит, оно было особенно важным для него.

Атеистом считался А.Фет. Обращения к Богу в его стихах – поэтическая условность. Атеистом – как ни диковато звучит это слово по отношению к тончайшему и великонравственному поэту – был И. Анненский. “Я потерял Бога, – пишет он в 1904 году, – и беспокойно, почти безнадежно ищу оправдания для того, что кажется справедливым и прекрасным”. Нравственное оправдание он ищет вне религии. Н. Гумилёв писал об Анненском: “Он борется за своё право не верить с ожесточённостью пророка”.

В небе ли меркнет звезда,
пытка ль земная всё длится,
я не молюсь никогда,
я не умею молиться.

Время погасит звезду,
пытку ж и так одолеем.
Если я в церковь иду,
там становлюсь с фарисеем.

Но в том же стихотворении читаем:

С ним упадаю я, нем,
с ним и воспряну, ликуя.
Только во мне-то зачем
мытарь мятётся, тоскуя?

То, что “мятётся” – и есть то самое чувство высокого волнения, чувство божественного в себе, что скрыто в душе каждого истинного поэта, порой даже вопреки его собственным утверждениям. Как верно заметил М. Кузмин в стихотворении о человеческом сердце: “Пускай нам кажется, что не верим – оно за нас верит и нас хранит”. С другой стороны, у раннего Пушкина есть стихотворение “Безверие”, где он утверждает обратное: “Ум ищет Божества, а сердце не находит...”.

Помимо канонически верующих ортодоксов и убеждённых атеистов есть и третья категория поэтов, которых можно назвать богоборцами. В своих стихах они упрекают, осуждают, проклинают Творца, кощунствуют и богохульствуют, то есть вроде бы отрицают, но то, с какой запальчивостью и с какой болью они к нему взывают и апеллируют, доказывает тем самым признание его существования. В таких стихах трудно понять до конца, верят ли их авторы, хотя бы на подсознательном, генетическом уровне или это просто поэтический прием, и под Богом они подразумевают некоего трансцендентного собеседника, условную Высшую силу. Бог в представлении многих поэтов, философов – это не церковный Бог, а нечто большее, некий абсолют, включающий такие понятия, как Дух, Добро, Совесть, Истина. У религии много общего с поэзией. Это отметил ещё Жуковский в своей формуле: “Поэзия есть Бог в святых мечтах земли”.

Двойственным было отношение к религии и церкви у Ф. Тютчева. Поэт пребывал на грани веры и безверия. Аксаков (женатый на дочери Тютчева) писал о нём: “Он был совершенно чужд в своём домашнем быту не только православно-церковных обычаев и привычек, но даже и прямых отношений к церковно-русской стихии”. Ещё в 30-х годах Тютчев написал стихи, опубликованные лишь после его смерти, где обращался к Творцу с такими “богохульскими” словами:

И чувства нет в твоих очах,
и правды нет в твоих речах,
и нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
и нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе!

А в 1851 году он напишет одно из самых значительных своих стихотворений “Наш век”:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
и человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвётся из ночной тени
и, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
и жаждет веры... но о ней не просит.

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
как ни скорбит пред замкнутою дверью:
“Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!”

Когда Тютчев потерял самого дорогого человека – Елену Денисьеву, он написал стихотворение-реквием, где его мольба Богу звучала как вызов:

О Господи, дай жгучего страданья
и мертвенность души моей рассей.
Ты взял её, но муку вспоминанья,
живую муку мне оставь по ней...

По аналогии с “денисьевским циклом” можно было бы назвать книгу Геннадия Русакова “Разговоры с богом” “циклом Копыловой”, посвящённую памяти его жены Людмилы, умершей в 1990 году. Эти стихи выстраданы и выкрикнуты единым дыханием на ледяном ветру нашей далеко не поэтической эпохи. Не один – 14 циклов, по числу лет, прошедших со дня смерти любимой. Пронзительный реквием, гимн бессмертной любви и проклятия Богу-убийце.

Не смирюсь, не отдам, не прошу!
Покажись – я в лицо твоё гляну!
На хребте к тебе камень втащу,
растрясу твою скудную манну!

И в последней моей наготе,
и в икотном бессмысленном страхе,
даже там, на отходной черте,
даже путаясь в смертной рубахе –

доклянью, довоплю, дохриплю:
“Не прощаю тебе! Не прощаю!”
Ты же знал, как я горько люблю...
Ты попомнишь меня. Обещаю.

Читая эту трёхсотстраничную страстную исповедь, поражаешься, какой же духовной силой и мужеством надо обладать, чтобы не бояться постоянно возвращаться к одному и тому же и писать об этом почти теми же словами, но каждый раз по-другому. Тут и упрёки Всевышнему:

Я, Господи, тебе – обсевок придорожный,
я для тебя зерно в бесхозных закромах.

...И ладно, и пускай, ищи себе другого!
Зачем ты разорил назначенное мне?

х х х

Неужто ты завидовал нам, боже,
таким счастливым, без тебя, вдвоём?

И жалобная мольба:

Слёзно к тебе припадаю –
вспомни, найди и услышь.

х х х

Зачем, творец, не жалуешь меня?
Кто я тебе и где моя защита?

х х х

Господи, грозною силою
всепрощения твоего
исцели, исцели мою милую!
Больше нет у меня ничего.

И яростные проклятия:

У, злобный бог, не отводи глаза!
Скажи, за что? За что, творец неправый?

х х х

А я тебе почти что верить начал.
И отхожу, спокойно прокляня.

За муки милой – за столетья боли,
за семь Тобой испепелённых лет,
с Тебя, Владыка яростной юдоли,
я в судный день потребую ответ!

И угрозы Творцу:

У, страшный бог – верни, ты взял моё!
я отыщу управу и на бога!

И страх перед ним:

Ведь, Господи, я от испуга
прилюдно тебя полощу!

Он и не верит в него всерьёз:

Мой бог неласковый, тебя, наверно, нет.
Я сам, тебя, творец, придумал перед смертью.

И боится своего неверия:

Я боюсь тюрьмы, сумы и глада...
А ещё того, что бога нет.

И в то же время его не покидает ощущение его постоянного присутствия
рядом:

И тьма идёт, и небо снова ближе:
ночами расстояния не те.
И я тебя, творец, не то что вижу,
но слышу, как ты дышишь в темноте.

М. Цветаева в “Истории одного посвящения” пишет: “Все мои стихи обращены к Богу. Поверх голов – к Богу! По крайней мере – к ангелам”. Но её Бог – не канонический. “Возлюбила больше Бога милых ангелов его”, – милая игривость этой строчки говорит о совсем иной природе религиозного чувства Цветаевой. Её высказывания о христианстве: “Я никогда не дерзну назвать себя верующей”. “Для меня в церкви Бога нет”. В 1914 году она исповедуется в письме к Розанову: “Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда – безнадежность, ужас старости и смерти, безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жажда жить. Может быть, Вы меня из-за этого оттолкнёте. Но ведь я не виновата. Если Бог есть – он ведь создал меня такой!”

Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
Видно, пока надо мной не пропоют литию,
буду грешить, как грешу, как грешила – со страстью!
Господом данными мне чувствами – всеми пятью!

х х х

Ах, далеко до неба.
Губы близки во мгле.
Бог, не суди! Ты не был
женщиной на земле!

Марина бескомпромиссна в своём отношении к Богу. Она не хочет и не может примириться с устроенным им миропорядком. Если содержание цветаевской поэзии можно было бы свести к какой-то формуле, то это: “На Твой безумный мир ответ один – отказ”.

Теодицея – оправдание Бога – центральная проблема христианского сознания. Как совместить существование зла в мире с идеей всеблагото Бога? Да не абстрактного зла, а проехавшего вволю по твоей единственной жизни? Как приобрести и сохранить веру в справедливый промысел, если вокруг бушуют доказательства обратного?

Мария Шкапская, раньше – убеждённая атеистка (так, по крайней мере, свидетельствует её дочь), в переломное время вступила в напряжённый и страстный диалог с Богом, может быть, потому, что величие переживаемой эпохи напоминало о библейских катастрофах. Библейские законы она приняла не разумом, но поистине плотью и кровью. Отсюда и невероятное напряжение спора с Богом, чью несправедливость, вернее, справедливость, непостижимую для человека, она отвергает. У неё были об этом страшные стихи, которые она и печатать не решилась:

Боже, милый и трудный, внемлю!
Но внемлешь ли нам и Ты?
Или только готовишь землю
под белые эти кресты?

х х х

Скудные, хилые, слабые
человеческие семена.
Хозяйка хорошая не дала бы нам
для посева такого зерна.

Но Ты – из недобрых Пастырей.
Ты – неразумный Жнец.
Всходы возьмутся частые –
терн, полынь и волчец.

Так никто после Иова не разговаривал с Богом. С такой мукой, которая с богоотрицанием не имеет ничего общего. Это ведь не крик неверия: “Тебя нет!” Это вопль боли и непонимания, первая страшная догадка о том, что вопрошать бессмысленно. Но в минуту отчаяния она снова обращается к нему с мольбой:

Я верю, Господи, но помоги неверью.
В свой дом вошла и не узнала стен.
В свой дом вошла и не узнала двери.
И вот – не встать с колен.

И дети к сердцу моему кричали,
но сердце отступило прочь.
И яростной моей печали
сам Бог не мог помочь –
мой муж меня покинул в эту ночь.

Шкапская никогда бы не могла сказать, как Ахматова: “Отыми и ребёнка, и друга, и таинственный песенный дар”, она, всегда молившая об обратном:

До срока к нам не протягивай
тонких пальцев своих,
не рви зелёные ягоды,
не тронь колосьев пустых.
Ткани тугие, несканные,
с кросен в ночи не снимай.
Детям, Тобою данным,
вырасти дай.

В 1922 году у Шкапской выходит сборник “Барабан строгого господина”. Название проясняет эпитафия из Е. Гуро: “Мы танцуем под барабан строгого господина”.

Он, Господин, и мудр, и строг,
для каждого помнит данный срок.
Один младенцем, другой в летах,
все станем прахом в его руках.

В религиозности Елизаветы Кузьминой-Караваевой, впоследствии матери Марии, по свидетельству Н. Бердяева, было что-то трагическое, была борьба с Богом, порождённая человеческими страданиями, сострадание и жалость. Религиозность её поэзии в своём роде внешний декор, за которым открывается общечеловеческая и философская суть. В её богоборческих стихах звучит тема Иова, упрёки Богу за дурно созданный мир: “Убери меня с Твоей земли, с этой пьяной, нищей и бездарной...”. И в этом она очень близка Марии Шкапской. Так же, как Шкапская, Кузьмина-Караваева внутренне одинока и безытна, и ей тоже хочется тепла, любви и заботы. Она упрекает Бога в том, что он не дал ей всего этого.

Ночью камни не согреешь телом,
не накликаешь скорей рассвет.
Господи, наверно, в мире целом
никого меня бездомней нет.

Господи, я никогда не дома,
холодом неистовым влекома.
Никогда под сенью райских яблок
Ты не скажешь: “Грейся, коль озябла”.

Далёким от ортодоксального было отношение к религии у Райнера Марии Рильке. Австрийский поэт ратовал за новую форму единения людей, которую он мыслил в виде какой-то особой религии, отрицая при этом официальную церковность.

Церквей не будет, Бога задавивших,
его оплакавших и затравивших,
чтоб он, как зверь израненный, затих.
Дома откроются как можно шире,
и жертвенность опять родится в мире –
в твоих поступках и делах моих.

Бог постоянно предстаёт у Рильке в единении либо со стихиями природы, либо с простым народом. “Ты – мужик с бородой”, – так обращается к Богу поэт, а в другом стихотворении читаем: “Ты – кузнец, который всегда стоял у наковальни”. Бог еретически отождествляется у него с людьми труда, ореол величия у него отсутствует. Напротив, этот Бог нуждается в человеческом сострадании. А в одном стихотворении Бог даже сравнивается у Рильке с неоперившимся птенцом, выпавшим из гнезда и поэтому вызывающим жалость. Трудно себе представить образ, более отличный от Бога догматической религии.

Своеобразное чувство Бога было и у Бориса Поплавского. Ему чужд его царственный, величественный образ. Он ищет Бога униженного, слабого, обливающегося слезами. В дневнике записывает: “Я люблю Бога как героя, как источника боли моей за всех униженных. Бог кажется мне неудачником, мучеником своей любви”.

Молчи и слушай дождь.
Не в истине, не в чуде,
а в жалости твой Бог.
Всё остальное ложь.

Поплавский мучительно бился над разрешением задачи: с кем идти – с Богом или без Бога? В нём было подлинное религиозное беспокойство и искания. Н. Бердяев писал: “Поплавский был страдалец, жертва стремления к святости. Он чувствовал между собой и Богом тьму”.

Мне хочется простого, как мычанья,
и надоело мне метаться, исступлённому,
от инея свинцового молчанья
к уайльдовской истерике влюблённости.

Вечерний благовест замолкнул недовольно,
апостол Страсти надоедливый прошёл,
и так я радуюсь, печально и неволью,
что с лампой Бог, обидевшись, ушёл.

Иногда у Поплавского разыгрывался спор с Богом. “Неужели церковь не ошиблась, и Ты на самом деле принимал участие в творении мира?” Как мог быть сотворён мир таким? Вечный упрёк со всей силой возмущения, на какую этот кипучий человек был способен. На церковном покаянии он разразился гневом, не щадя святынь: “Я хочу моего Христа, а не церковного!” – “Однако Вы пришли в храм на исповедь”, – скромно напомнил батюшка. Но поэт не мог не возмущаться своими и чужими страданиями, не мог не бросать ежеминутно вызов мирозданию: “Как Ты мог, как решился, не пожалел!” Не только Бог “обижался” на него, уходя с лампой, но и он обижался на Бога. В сборнике “Флаги” у Поплавского есть такая строчка: “Бог звал меня, но я не отвечал”.

В дневнике он записывает: “В отношении к Богу я так же перехамил, как и в отношении к людям. Понадеялся на свои силы и забыл, что всё даётся от любви и милости других, не только от того, что сам даёшь”.

“Перехамил Богу” и “проклятый поэт” Артю́р Рембо, для которого Всевышний всегда был синонимом Долга, Порядка, Цепей, всего того зла, что он ненавидел в жизни. Один из его сонетов так и назывался: “Зло”. В нём алчный Бог спит, пока люди убивают друг друга, и просыпается, лишь когда богомолка жертвует ему 10 сантимов.

До колик в животе рыдаю, хохочу
над всепрощением Твоим, о милосердный!
Я проклят, беден, пьян – блажному рифмачу
не до тебя, пускай услужливые смерды
храпят с тобой! Усни! Я спячки не хочу.

Это строки из стихотворения Рембо “Праведник”, где звучит мотив отверженности мятежника, восставшего против Бога и отказывающегося от прощения, выпад против “оцепенелости” христианства, усыпляющего человека, отвлекающего его от борьбы за жизнь. Яростная, антихристианская направленность стихотворения перекликается с критикой христианства как рабской идеологии у Ницше. На эту тему и стихотворение Рембо “Первое причастие”, в котором он обвиняет христианство в создании ложного представления о греховности и постыдности плотской любви, извращающего нормальные инстинкты женщины.

В провинции меня воротит от церквей.
Что может быть глупей? – Облезлая сутана
зверинцу вшивому крестьянских сыновей
слюдявые псалмы талдычит неустанно...

Стихи Рембо отличает издевательский тон, богохульский, кощунственный характер. Такова “Вечерняя молитва”, где возвышенная форма сонета и возвышенная тема молитвы резко контрастирует с низменным содержанием, сводящимся к описанию потребления пива и отправления естественных надобностей. К стихам этого рода относятся и “Бедняки в церкви”, где Рембо высмеивает набожность прихожан, суетность и мелочность их молитв: “На печень Господу пожалуется дама, слизнув с перстов своих святой воды чуток”.

Отвергая тематику и романтическую сущность парнасской поэзии, Рембо смыкался с парнасцами во взглядах на искусство, которое они ставили выше морали и религии и презирали христианство (Т. Готье говорил, что даже смерть лучше, чем христианская вера) и уважали лишь языческое мироустройство, девственную природу и превыше всего нирвану.

Для Вениамина Блаженного (Айзенштадта) Бог – совершенно свой, никогда не канонический, не церковный и не закоснело-статичный.

Ах, Господь, ах, дружок, ты, как я, неприкаянно-нищий,
даже обликом схож и давно уж по-нищему мёртв...
Вот и будет вдвоём веселей нам, дружкам, на кладбище,
там, где крест от слезы – от твоей, от моей ли – намок.

Вот и будет вдвоём веселее поэту и Богу...
Что за чудо – поэт, что за чудо – замызганный Бог...
На кладбище в ночи обнимаются двое убогих,
не поймёшь по приметам, а кто же тут больше убог.

Поэт неустанно ищет Бога, теряет, обретает вновь и вновь. Сам Блаженный уже в зрелые годы признавался: “Я до сих пор не знаю, что такое стихи и как они пишутся. Знаю только, что рифмованный разговор с Богом, с детством, с братом, с родителями затянулся надолго, на жизнь”.

Бок о бок с душою – с медведицей дико-большою –
в лесу ночевал я, а вот я бреду отрешённо
по пыльной дороге – и кличу Христа на дороге,
и вяжут мне зори кровавыми путами ноги.

Христос о те поры бродил по дороге с сумою,
да только побрезгал – чужим, неприкайным – мною,
а дьявол легонько-легонько толкнул меня в плечи,
и вот я трещу в жерловине праматери-печи.

Исчез бы я вовсе, когда бы не тишь полевая,
когда бы не пыль пылевая, не даль далекая.
Из печи – вприпрыжку, что твой из пруда лягушонок...
“Ужо тебе, Боже! Опять побреду за душою”...

Стихи этого круга Блаженный довольно точно назвал “письмами к Богу”, спрятанными на дне огромного сундука для слёз – то есть на дне болезненного, оскорблённого и униженного духа. Т. Бек назвала эти стихи не богоборческим, а “богообретающим бунтом”. Не об этом ли писал философ В.Н. Лосский: “Бунт против Бога (свобода от Него) есть Ему принадлежность”.

В отчаянье поэт порой Бога проклинает, угрожает ему возмездием всех его земных жертв:

Отец, ты меня породил,
веди же меня за собою,
туда, где Господь впереди
стоит с топором для убоя...

х х х

Мой дом везде, где побывала боль,
где даже мошка мёртвая кричала
разнузданному Господу: – Доколь?..
Но Бог-палач всё начинал сначала.

х х х

Поднимется бесчисленная рать
всех, кто с сумой ходил по белу свету...
Тогда, Господь, тебе не сдобровать.
Тебя все жертвы призовут к ответу.

Бог в поэзии Блаженного многолик. То он карает, то ласкает, то грозен, то мягок, то глух, то смешон и потешен.

Что же делать, коль мне не досталось от Господа-Бога
ни кола, ни двора, коли стар я и сед, как труха,
и по горной земле, как блаженный, бреду босоного
и сморкаю в ладошку кровавую душу стиха?

Что же делать, коль мне тяжела и котомка без хлеба
и не грешная мне примерещилась женская плоть,
а мерещится мне с чертовщиной потешною небо:
он и скачет, и пляшет, и рожицы кажет – Господь.

х х х

Если буду в раю и Господь мне покажется глупым,
или слишком скупым, или, может, смешным стариком, –
я, голодный, как пёс, откажусь и от райского супа –
не такой это суп – этот рай – и Господь не такой!

В стихах Блаженного есть потрясающая своей свежестью и лирической новизной метафора: Бог – это хлебная корка, которую надо прожевать, размочив собственной слюною, чтобы тот стал съедобным для человека хлебом. То есть путь к Богу требует личных усилий каждого отдельного существа. Блаженный не ищет Господа в храме – он обретает Его то в метаниях духа, то в непрерывном диалоге с умершей матерью, которая для него и поныне – самый живой собеседник на белом свете: “Мама, расскажи мне по порядку, как в раю тебя встречал Христос”, то в облике отца:

Я видел Бога не в старинном храме,
он был в каком-то старом зипунишке,
когда он говорил о чём-то маме
и вслушивался в вещь затишье.

Блаженный уверен, что никогда нельзя сказать окончательно: я Бога познал. Можно лишь верить и надеяться на чудо.

Может быть, перед смертью увижу я Господа,
столько в Господе лиц...

х х х

Мне казалось всегда, что Господь где-то рядом –
вот его я окликну взволнованным голосом...

х х х

Пусть устал я в пути, как убитая вёрстами лошадь,
пусть похож я уже на свернувшийся жухлый плевок,
пусть истёрли меня равнодушные ваши подошвы, –
не жалейте меня: мне когда-то пригрелся Бог.

Книга Елены Шварц “Дикопись последнего времени”, посвящённая памяти покойной матери, поминальная. Вся интонация книги – вопль библейского Иова, потерявшего родню.

Бог не умер, а только сошёл с ума.
Это знают и Ницше, и Сириус, и Колыма.
Это можно сказать на санскрите, на ложках играя,
паровозным гудком, или подол задирая
(и не знают ещё насельники рая).

У Бориса Чичибабина – сложное отношение к Божьим заповедям. Он признаётся, что не всё из них в силах принять. Ведь согласно этим заповедям нужно ненавидеть грех, но любить грешников, любить злодеев, любить в них людей, наших братьев и сестёр. Чичибабин знает, что так нужно и должно, но понять это ни умом, ни сердцем не в силах и тем более – применить это в жизни. В “Мыслях о главном” он пишет: “Я не могу любить мучителя, убийцу, насильника, не могу отделить их от страшных дел, их злодейств от них самих, не могу увидеть в них человеческого, Божьего. Знаю, что это мой грех, моё несовершенство, моя вина, моё несчастье, но я не могу и вряд ли хочу мочь. “Объединиться” с ними значило бы “объединиться” с их взглядами, которые, в моём представлении, являются злом; это значило бы полюбить не грешников, но сам грех, принять на душу их грехи, то есть пойти против себя, против Бога”.

Не созерцатель, не злодей,
не нехристь всё же,
я не могу любить людей.
Прости мне, Боже!

Богоборческие мотивы звучат и в стихах Ларисы Миллер:

Досадно, Господи, и больно,
что жизнь тебе не подконтрольна,
она течёт невесть куда...

х х х

О скольких за собою увлёл ещё до нас
тот лик неразличимый, тот еле слышный глас,
тот тихий, бестелесный, мятежных душ ловец.
Куда, незримый пастырь, ведёшь своих овец?
В какие горы, доли, в какую даль и высь?
Явись хоть на мгновенье, откликнись, отзовись.
Но голос твой невнятен. Влеки же нас, влеки,
хоть знаю – и над бездной ты не подашь руки,
хоть знаю – только этот почти неслышный глас –
единственная радость, какая есть у нас.

х х х

Всё дело в том, что дела нет
ему до нас. И всякий след
готов исчезнуть через миг.
Всё дело в том, что Светлый Лик
всегда глядит по верх голов,
не видя слёз, не слыша слов,
не опуская ясных глаз,
глядит туда, где нету нас.

Фёдора Сологуба называли “поэтом небожьего мира”. Восстав против Бога и отвергая его, Сологуб ставил личность в центре мирового процесса. Богом для него становится человек – “Я”.

Воззвав к первоначальной силе,
я бросил вызов небесам,
но мне светила возвестили,
что я природу создал сам.

Однако свой многолетний спор с Богом Сологуб заканчивает примирением с его волей:

Как я с тобой ни спорил, Боже,
как на тебя ни восставал,
ты в небе на змеиной коже
моих грехов не начертал.

Что я тебе? Твой раб ничтожный,
или твой сын, иль просто вещь, –
но тот, кто жил во мне, тревожный,
всегда горел, всегда был вещь.

И много ль я посеял зёрен,
и много ль зарослей я сжёл,
но я и в бунте был покорен
твоим веленьям, вечный Бог.

Ты посетил меня, и горем
всю душу ты мне сжёл дотла –
с тобой мы больше не заспорим,
всё решено, вся жизнь прошла.

В оцепенении жестоком,
как бурю разбитый чёлн,
я уношусь большим потоком
по прихоти безмерных волн.

Атеист, ниспровергатель основ, “хулиган, не выбивший ни окна”, поэт Наум Коржавин тоже, как ни странно, пришёл к той же вековой истине:

От правд, затмивших правду дней,
от лжи, что станет им итогом,
одно спасенье – стать умней,
сознаться в слабости своей
и больше зря не спорить с Богом.

Что такое Бог, в сущности? Как и счастье, каждый понимает его по-своему. Для кого-то это – совесть.

Да, мы в Бога не верим, но полностью веруем в совесть,
в ту, что раньше Христа родилась и не с нами умрёт.

х х х

Точных знаний и меры
в наши нет времена.
Чту любую я веру,
если совесть она.

Н. Коржавин

Для кого-то – некий компас в душе, безошибочно указывающий, где истина.

Не собьёт в пути меня никто.
Некий Норд моей душою правит.
Он меня в скитаньях не оставит,
он мне скажет, если что: не то!

И. Бунин

В своё время Герцен, восприняв нравственные основы христианства, полагал, что всё это может существовать и без христианства. А Рильке говорил: “Бог – это направление. Глупо представлять себе кого-то бородатого, ждущего нас “там”. Важно путешествие. Важна дорога, а не прибытие”. Ещё точнее выразилась художница Фридл Диккер-Брандейсова: “Бог – это мера, без которой всё идёт наперекосяк”. Ей вторит и Г. Русаков:

Отец, тебе не лгут. Перед тобой мы наги.
А есть ты или нет – вопрос страстей и вер.
Найти тебя, найти хотя бы на бумаге,
и душу подогнать к тебе хоть на размер.

В сущности, Бог – лишь форма, в которую мы облачаем всё самое святое, близкое и далёкое, дорогое и больное сердцу. “Любая форма – это пустота. А это значит, что пустота – это любая форма”, – как сказано у Пелевина. Важно лишь, чем мы её наполним. Чтобы не “сосуд, в котором пустота”, а “огонь, мерцающий в сосуде”.

“...То, что я увидел, было подобием светящегося всеми цветами радуги потока, неизмеримо широкой реки, начинавшейся в бесконечности и уходящей в бесконечность. Свет, которым он заливал нас, был очень ярким, но в нём не было ничего ослепляющего и страшного, он был милостью, счастьем и любовью бесконечной силы. Просто глядеть на эти постоянно возникающие разноцветные огни и искры было уже достаточно, потому что всё, о чём я только мог подумать или мечтать, было частью этого радужного потока.

– Что это? Как это называется?

– По-разному, – ответил Чапаев. – Я называю его условной рекой абсолютной любви. Если сокращённо – Урал. Надо же чем-то занять себя в этой вечности. Вот мы и пытаемся переплыть Урал, которого на самом деле нет”.

В.Пелевин (“Чапаев и пустота”)

Все поэты ощущают себя частью этого светящегося радужного потока, этой бесконечной космической реки, какими бы неверующими они себя ни считали. Частицей Божьей.

Отче, я тоже твоё творенье,
и делаю, что велишь.

х х х

Я постройки твоей торец,
кровеносная вена твоя.

Г. Русаков

Бог – это то, что мы подумали о нём,
с чем кинулись к нему, о чём его спросили.

А. Кушнер

Я опять за своё, а за чьё же, за чьё же?
Ведь и Ты, Боже мой, повторяешься тоже,
и сюжеты Твои не новы,
и картинки Твои безнадёжно похожи:
небо, морось, шуршанье травы...

Ты – своё, я – своё, да и как же иначе?
Дождь идёт – мы с Тобою сливаемся в плаче.
Мы совпали и как не совпасть?
Я – подобье Твоё, и мои неудачи –
лишь Твоих незаметная часть.

Л.Миллер

Наверное, это и есть подлинное религиозное чувство, гармоническое ощущение Бога в себе и себя в Божьем мире.

Правда жизни и правда поэзии

Была такая популярная некогда песня под названием “Давай поговорим”:

А я говорю: “Роса”, – говорю.
Она говорит: “Мокро”.
А я говорю: “Краса”, – говорю.
Она говорит: “Блёкло”.
“Смотри, – говорю, – луна, – говорю, –
и звездочки, словно крошки”.
Она говорит: “То лампа горит,
и вьются над ней мошки”.

В шутовой, пародийной форме в этих строчках выражена квинтэссенция жизненного диалога, который обычно происходит в любви между поэтом и непоэтом, говорящих на разных языках. Можно привести много красноречивых тому примеров. Пушкин, с трепетом читающий Натали только что написанные строки: “Тебя мне ниспослал, моя Мадонна...” и – недовольно бурчащее в ответ: “Как ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!”

Маяковский, готовый положить “Сахарой горящую щёку” под ноги любимой, дарящий ей корону, “а в короне слова мои – радугой судорог”, слышащий в ответ лилино капризное: “Хочу автомобильчик!”

Марина Цветаева, в ответ на свою жаркую ночную страсть получавшая ушат холодной воды от художника Н. Вышеславцева: “Ночью нужно спать” (“ты – каменный, а я пою, ты – памятник, а я летаю”). Впрочем, что касается Цветаевой, то это несовпадение фаз ожидало её с каждым, кого она любила, слишком велик был масштаб её личности, слишком сложен язык чувств, на котором говорила её душа. “Певцу и первенцу” “в мире мер”, в мире серости и прозы существовать невыносимо, невозможно.

Они – иностранцы, инородцы, изгои среди людей. “В сем христианнейшем из миров поэты – жида”. Их языка не понимают, над дарами их сердца смеются. “Но ты мне душу предлагаешь – на кой мне чёрт душа твоя!”

Ещё одна пара – Александр Блок и Любовь Менделеева. Блок – не просто поэт – живое воплощение Поэзии, сама эфемерность, отрешённость, тайна. Вот как описала его Ахматова в “Поэме без героя”:

Демон сам с улыбкой Тамары,
но такие таятся чары
в этом страшном дымном лице;
плоть, почти что ставшая духом,
и античный локон над ухом –
всё таинственно в пришлеце.

Его называли лунатиком лиризма. Потустороннее для Блока – это его стихия, его родное, кровное. Казалось, от него исходит трепетное касание иных миров. И – Люба Менделеева, дочь знаменитого химика, румяная, статная, твёрдо стоящая на земле, с рациональным складом ума, пышущая физическим и душевным здоровьем. Та, кого поэт назвал Величавой Вечной женой, Владычицей Вселенной, кому хотел поклоняться и молиться, как святыне, неуютно чувствовала себя в этой роли, не желая втискивать свою живую жизнь в рамки навязанного ей образа отвлечённого идеала. Непонимание, несовпадение их миров – с самого начала знакомства. Блок упоённо посвящает ей торжественные высокопарные стихи:

Вхожу я в тайные храмы,
свершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
в мерцанье красных лампад.

А “Владычица Вселенной”, морща носик, в это время заносит в свой дневник обидные для поэта слова: “Этот анемичный фат с рыбьим темпераментом и глазами...”. Блок пишет ей восторженные письма: “Ты моя Первая Тайна и Последняя моя Надежда. Я найду для тебя слова и звуки

священные, царственные, пророческие...”. Люба недоумевает: “Как будто и любовь, но в сущности – одни литературные разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в запевающие образы”.

Он жаждал “сверхслов” и “сверхобъятий”. А она была обычной женщиной и хотела тепла, ласки, простых человеческих отношений. И доверяла дневнику своё разочарование: “Никогда не заблудились мы в цветущих кустах”. Он написал ей 317 писем, посвятил 687 стихов. А ей нужнее всего был хотя бы один поцелуй...

Устав от ожидания земных проявлений чувств, Прекрасная Дама решает порвать с поклонником и пишет ему прощальное письмо: “Мне стало ясно, до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете. Ведь Вы смотрите на меня как на какую-то отвлечённую идею, любили свою фантазию, свой философский идеал... Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно”.

Она была человеком трезвым, уравновешенным, чуждым всякой невнятице, и все его безудержные завихрения вызывали у неё протест: “Пожалуйста, без мистики”. Блок спорил, разъясняя ей настойчиво в письмах суть своего мировоззрения: “Мистицизм – это моя природа. От него я пишу стихи. Через него я полюбил тебя. Это не просто любовь – не такая, как между неведающими и неверующими. Я знаю многое, больше, чем другие. Позволь мне не убивать себя самого, свою душу. Когда ты говоришь: “Пожалуйста, без мистики”, ты как будто произносишь смертный приговор над моими стихами. А они поют Тебе и о Тебе”.

Каждый по-своему был прав. В словах Менделеевой – правда жизни, здравого смысла. У Блока – своя правда, понятная лишь посвящённым: правда Высшего смысла, правда поэзии. “И в жизни, и в стихах – корень один, – пишет он. – Он в стихах. А жизнь – это просто кое-как”. Но то, что приемлемо для поэта, невозможно для обычной земной женщины.

Эти две правды – несовместимы. Если бы Блок принял правду жизни – правду Любы, она убила бы поэзию, стихи о Прекрасной Даме, ибо жене таких слов не пишут. (Байрон как-то заметил: “Как вы думаете, если бы Лаура была женой Петрарки, стал бы он писать всю жизнь сонеты?”). Но случилось обратное: правда поэзии Блока убила жизнь, любовь, семейное счастье, исказила, иссушила, сделала невозможным. Его это, впрочем, не очень удручает. “Чем хуже жизнь, тем лучше можно творить”, – записывает он в дневнике.

В истории литературы уже выработался шаблон: поэт поклоняется женщине заурядной, не умеющей оценить его. К их истории эта мерка не подходит. Любовь Менделеева была сильной, мудрой, самоотверженной женщиной, прекрасно знавшей цену своему мужу и очень любившей его. Но она была слишком живой и земной, чтобы жить химерами.

Все знают, что Блок посвящал стихи Прекрасной Даме, но мало кому известно, что Прекрасная Дама тоже писала стихи Блоку, и в них выразилось её искреннее, подлинное, непридуманное чувство:

Зачем ты вызвал меня
из тьмы безвестности – и бросил?
Зачем вознёс меня
к вершинам вечности – и бросил?
Зачем венчал меня
короной звёздной – и бросил?
Зачем сковал судьбу
кольцом железным – и бросил?

Пусть так. Люблю тебя.
Люблю навек, хоть ты и бросил.

Он пишет ей: “Благодарю тебя, что ты продолжаешь быть со мной, несмотря на своё, несмотря на моё”. Единство противоположностей? Но... правда поэзии зовёт его прочь, вдаль, ввысь, в иные миры, в чужие объятия.

И мне, как всем, всё тот же жребий
мерещится в грядущей мгле:
опять любить её на небе
и изменить ей на земле.

Позже Блок напишет стихотворный цикл “Снежная маска”, посвящённый Наталье Волоховой, где слиты воедино любовная стихия и снежная, метель и мятеж чувств.

И твоя ли неизбежность
совлекла меня с пути,
и твоя ли страсть и нежность
хочет вьюгой изойти?

Спустя полвека Н. Волохова опубликует свои воспоминания о Блоке, где с холодной сдержанностью будет опровергать всё, что писалось в тех стихах, уверяя, что отношения их были только дружескими и поэт сильно преувеличил её роль в своей жизни. Допустим, что так. Пусть не было ночного бега саней, о котором говорится в “Снежной маске”, не было поцелуев “на запрокинутом лице”, пусть всё это – поэтические фантазии Блока. Но ведь поэзия существует не ради протокольного изображения реалий. Она улавливает невидимые духовные связи с такой же точностью, как физические приборы регистрируют скрытые от уха и глаза процессы. Влюблённый Блок и не хотел “реалий” – интрижки и обычной женской любви. Он называл Волохову падучей звездой и кометой, он любил в ней свою мечту. Но... “что же делать, если обманула/ Та мечта, как всякая мечта”. И эта женщина тоже оказалась внутренне чуждой поэту. Она любила другого – более земного и понятного ей.

Однако жизнь по бумажным законам поэзии не только ломала и корёжила живую жизнь, она в то же время и помогала выжить в бездуховном пространстве.

Ты проклянёшь в мученьях невозможных
всю жизнь за то, что некого любить!
Но есть ответ в моих стихах тревожных:
их тайный жар тебе поможет жить.

Их тайный жар нам помогает жить и сейчас. Жизнь преходяща, поэзия же – бессмертна. Е. Замятин в своих воспоминаниях о Блоке хорошо сказал об этом: “Человек Блок так полно, так щедро всего себя перелил в стихи, что он будет с нами, пока живы будут его стихи. Поэт же Блок будет жив, пока живы будут мечтатели, а это племя у нас в России бессмертно”.

Ещё один пример: Владислав Ходасевич и Нина Берберова. Они были диаметрально разными, можно сказать, психологически несовместимыми людьми. Волна и камень, лёд и пламень... Даже внешне они, казалось, совершенно не подходили друг другу. Из воспоминаний О. Грудцовой: “Мне представлялось, что он чудовищно некрасив: лицо серо-коричневого цвета, лоб весь в морщинах, маленькие широко расставленные глаза смотрят из-под очков... Я никак не могла понять, что влекло к нему эту молодую, статную, красивую женщину с большими глазами и прекрасным цветом лица”.

Когда читаешь воспоминания Нины Берберовой, не оставляет ощущение, что она в глубине души тоже была убеждена в своём неоспоримом превосходстве, причём не только внешнем. Вот самое начало их жизни – 1922 год. Берберова вспоминает их отъезд за границу, дорожные мешки на полу товарного вагона. “Да, там был и его Пушкин, все 8 томов. Но я уже тогда знала, что никогда не смогу полностью идентифицироваться с Ходасевичем. Россия не была для меня Пушкиным только. Она лежала вне литературных категорий”.

По тону мемуаристики чувствуется, что она видит себя более многогранной и цельной личностью, нежели её спутник, заикленный на литературе и поэзии. “Полностью идентифицироваться” она не могла с ним не только в отношении к родине. Это была ещё крохотная, едва заметная трещинка, которая постепенно разрасталась в непроходимую пропасть.

1924 год. Они едут в Венецию, где когда-то в юности Ходасевич переживал роман с Евгенией Муратовой, своей “царевной”. Берберова пишет: “Он захвачен всем тем, что было здесь тринадцать лет назад, и ходит искать следы прежних теней, водит и меня искать их”. О нет, она не ревнует. Лишь недоумевает: “Я не вполне понимаю его: если всё это уже было им “выжато в стихи”, то почему оно всё ещё волнует его, действует на него?”

Сухая, прагматичная и целеустремлённая натура Берберовой не в силах понять всё, что не поддаётся здравому смыслу и житейской логике. В её тоне сквозит плохо скрываемое самодовольство: “Он боится мира, а я не боюсь. Он боится будущего, а я к нему рвусь. Он боится нищеты, обид, грозы,

толпы, пожара, землетресения...”. Но поэт, не обладая трезвым взглядом на вещи, обладает глубинным знанием жизни, которое, как известно, “умножает печаль”.

Хожу – и в ужасе внимаю
шум, не внимаемый никем.
Руками уши зажимаю –
всё тот же звук! А между тем...
И каждый ваш неслышный шёпот,
и каждый вам незримый свет
обогащают смутный опыт
Психеи, падающей в бред.

“Смутный опыт” – это совсем не то же самое, что опыт жизненный. Он не помогает жить, скорее, наоборот, мешает, терзая душу. “И как-то тяжко, больно даже/ Душою жить – в который раз...”. Природа, наделив поэта рецепторами, с помощью которых он способен принимать особые, мало кому внятные сигналы, вручив “дар тайнослышанья тяжёлый”, в то же время лишила его элементарных защитных свойств, оставив наедине со своими комплексами, болячками, дурными предчувствиями, фобиями, снами.

Стиху простому, рифме скудной
я верю тайный трепет тот,
что подымает шёрстку мыши
и сердце маленькое жжёт.

В то время как его спутница – решительная сторонница активной жизни, где всё – всецело в её воле, в её руках. “Моей природе противно всякое расщепление или раздвоение”, – пишет она. Сравните это с ходасевичевским:

И в этой жизни мне дороже
всех гармонических красот
дрожь, побежавшая по коже,
иль ужаса холодный пот.

Иль сон, где, некогда единый,
взрываясь, разлетаюсь я,
как грязь, разбрызганная шиной
по чуждым сферам бытия.

У Ходасевича – рефлексия, раздвоенность сознания, депрессия, тоска. У Берберовой – напор и натиск, безапелляционная уверенность в себе, в своих силах, в своей правоте. Она живёт, отсекая всё лишнее, бесплотное и бесплодное, мешающее неуклонному движению вперёд. Никакой сумятицы чувств, никаких неразрешимых противоречий, путаницы и хаоса в душевном

мире, которые, как она пишет, “если их не унять, разрушат человека”. Ни “дымки грусти”, ни “меланхолической слезы” о “навекы утраченном”. Вместо всего этого – “стосвечовая лампочка, светящая мне прямо в книгу, где всё договорено, всё досказано, ясный день, чёрная ночь...”. “Бытие есть единственная реальность”, – утверждает она.

Берберова уходит от Ходасевича, прожив с ним без малого 10 лет. Уходит, как вырывается на свободу. Ей хотелось жить, осуществлять себя, а миссия её больного, нервного, измождённого мужа была уже, как ей казалось, завершена. “Жить, жить, жить”, – исступлённо повторяет она. Но парадокс в том, что не ей – деятельной и бесстрашной, а ему, хилому и хандрящему, был открыт потаённый, глубинный смысл жизни, тот “смутный опыт”, которым он обогатит души грядущих поколений.

Так что же предпочесть – жизненную правду простых смертных или правду поэтов, верховную правду бытия? На чьей стороне истина? Умом уговаривая себя жить по законам реальности, идти по “проторённым тропам”, на которых, как известно, лежит счастье, душой тянешься к высшему смыслу поэзии, к несчастливому счастью поэтов, которое велит “выбираться своей колеёй”, пусть даже гибельной. “Главное дело поэта – создать кусочек вечности ценой гибели всего временного, даже ценой собственной жизни”, – считал Г. Иванов.

Правда жизни – это правда момента, у неё короткие ноги и близорукие глаза. Правда поэзии – это то Большое, что “видится на расстоянии”, это утешительный “человечества сон золотой”, о котором писал Беранже, это то, что всегда остаётся у человека, когда уже ничего не остаётся, это великое цветаевское “А зато... а зато – всё”.

Последнее стихотворение

“Когда человек умирает, изменяются его портреты...”. А стихи? Приобретают ли они после смерти поэта иной, пророческий или мистический смысл? Насколько они неслучайны? Знали ли, предчувствовали ли авторы, что эти их стихи – последние? Я задумалась об этом, когда прочла последние стихи Г. Державина. В 1816 году, за три дня до своей кончины, глядя на висевшую в его кабинете известную историческую карту “Река времён”, начал он стихотворение “На тленность” и успел написать лишь две строфы:

Река времён в своём стремленьи
уносит все дела людей
и топит в пропасти забвенья
народы, царства и царей.

А если что и остаётся
чрез звуки лиры и трубы,
то вечности жерлом пожрётся
и общей не уйдёт судьбы!

На грифельной доске, на которой поэт записал текст начала оды, были ещё две строки, но разобрать их не удалось. Сейчас весь текст на доске от времени стёрся.

Однако на практике последнее стихотворение поэта редко бывает таким многозначительным и завершающим. И последнее стихотворение Рубцова вовсе не “Я умру в крещенские морозы...”, и последнее стихотворение Пушкина – не “Памятник”, а почти весёлое четверостишие:

Забыв и рошу, и свободу,
невольный чижик надо мной
зерно клюёт и брызжет воду,
и песнью тешится живой.

Мини-исследование, которое я провела на эту тему, во многом опровергает наивно-бытовое восприятие таких категорий русской поэтической личности, как возраст, биография, смерть поэта и т.д. Последнее стихотворение, помогающее глубже понять творческое развитие поэта – факт преимущественно жизни, а не смерти.

Последнее стихотворение Блока, написанное 15 марта 1921 года, – “Как всегда, были смешаны чувства...”. К. Чуковский отмечает в своём дневнике, что оно возникло у него на глазах: “Оно было создано в 1921 году на заседании “Всемирной”, во время нудного витиеватого доклада, который явно угнетал его своим претенциозным пустословием. Чтобы дать ему возможность отвлечься от слушания этих учёных банальностей, я пододвинул к нему свой альманах и сказал: “Напишите стихи”. Он тихо спросил: “О чём?” Я сказал: “Хотя бы о вчерашнем”.

Накануне они блуждали по весеннему Питеру и встретили в одном из учреждений дочь знаменитого анархиста Кропоткина, с которой Чуковский был издавна знаком. Об этой встрече Блок написал в своём последнем экспромте:

Как всегда, были смешаны чувства,
таял снег, и Кронштадт палил.
Мы из лавки Дома искусства
на Дворцовую площадь брели...

Вдруг – среди приёмной советской,
где “все могут быть сожжены”,* –
смех, и брови, и говор светский
этой древней Рюриковны.

Последняя стихотворная строка поэта: “Мне пусто, мне постыло жить!”

Последнее стихотворение И. Анненского “Моя тоска” было написано 12 ноября 1909 года и опубликовано уже после смерти. Незадолго до этого он

беседовал с М. Кузминым в редакции “Аполлона” на тему о сущности любви и её формах. Вскоре он написал стихотворение, посвящённое М. Кузмину, на тему, затронутую в их споре. Заканчивалось оно так:

Я выдумал её – и всё ж она виденье.
Я не люблю её – и мне она близка.
Недоумелая, моё недоуменье,
всегда весёлая, она моя тоска.

В этом стихотворении есть строки, которые очень точно отражают ажурный склад души Анненского, не совместимый с грубыми реалиями мира. Внутренне одинокий, ищущий выхода из своего одиночества, поэт не находил в себе сил для жизни и с безумной завистью смотрел на живую жизнь, проходившую стороной.

Да и при чём бы здесь недоуменья были –
любовь ведь светлая, она кристалл, эфир...
Моя ж безлюбая – дрожит, как лошадь в мыле!
Ей – пир отравленный, мошеннический пир!

В этом последнем стихотворении поэта отразилась его трагедия несостоявшейся, в сущности, непрожитой жизни.

М. Волошин написал своё последнее стихотворение в Коктебеле за год до смерти в 1931 году, посвятив его микробиологу профессору С.И. Златогорову, организатору и участнику экспедиции по борьбе с чумой и холерой, который был арестован в марте 31-го и умер в тюремной больнице.

Революция губит лучших,
самых чистых и самых святых,
чтоб, зажав в тенетах паучьих,
надругаться, высосать их.

Здесь слышны отголоски крамольных мыслей Волошина, знакомых нам по его поэме “Россия”, которую Евтушенко называл лучшим учебником русской истории.

Последние стихи В. Ходасевича, написанные в 1938 году, посвящены четырёхстопному ямбу.

Из памяти изгрызли годы,
за что и кто в Хотине пал,
но первый звук Хотинской оды*
нам первым криком жизни стал.

В этом стихотворении отчётливо звучит мысль о могучей, победительной силе исторического сознания, позволяющего даже в самые

трудные минуты ощущать себя частью великой русской культуры, почувствовать за своей спиной пение ямба, веяние оды, гул времени.

Последнее стихотворение Ивана Елагина – “Гоголь”, написанное под впечатлением картины русского художника Владимира Шаталова “Портрет Гоголя”. Опубликовано посмертно.

Портрет, что Гоголю под стать,
он – Гоголева исповедь,
его в душе воссоздавать,
а не в музее выставить.

Внебрачный сын Николая Гумилёва Орест Высотский приводит в своих воспоминаниях (“Николай Гумилёв глазами сына” М., “Молодая гвардия”, 2004”) последнее стихотворение отца, датированное августом 1921-го, адресат которого не установлен:

После стольких лет
я пришёл назад,
но изгнанник я,
и за мной следят.

– Я ждала тебя
столько долгих лет!
Для любви моей
расстоянья нет.

– В стороне чужой
жизнь прошла моя,
как украли жизнь,
не заметил я.

– Жизнь моя была
сладостною мне,
я ждала тебя,
видела во сне.

Смерть в доме моём
и в доме твоём.
– Ничего, что смерть,
если мы вдвоём.

Однако есть основания полагать, что было ещё одно стихотворение Гумилёва, записанное им на стене камеры Кронштадтской крепости, где он провёл последнюю ночь перед расстрелом.

В час вечерний, в час заката
каравеллою крылатой
проплывает Петроград.
И горит на рдяном диске
ангел твой на обелиске,
словно солнца младший брат.

Я не трушу, я спокоен,
я поэт, моряк и воин –
не поддамся палачу.
Пусть клеймят клеймом позорным –
знаю, сгустком крови чёрным
за свободу я плачу.

За стихи и за отвагу,
за сонеты и за шпагу...
Знаю, строгий город мой
в час вечерний, в час заката
каравеллою крылатой
отведёт меня домой.

Композитор Пётр Старчик положил эти стихи на музыку, и Максим Кривошеев исполнял её на своих концертах.

Последнее стихотворение Игоря Северянина 1941 года адресовано первой жене Фелиссе Круут, с которой он расстался в 1930-м. С тех пор он жил в Таллине с новой спутницей Верой Коренди. Но в конце жизни его мысли всё чаще возвращались в прежние годы, связанные с рыбацким посёлком Тойла, где прошла его молодость. Видимо, он сожалел о совершённой ошибке.

Нас двадцать лет связуют – жизни треть,
и ты мне дорога совсем особо,
я при тебе хотел бы умереть,
любовь моя воистину до гроба.

Заканчивается это довольно длинное стихотворение так:

Одна мечта: вернуться бы к тебе,
о, незнаградимая утрата!
В богоспасаемой моей судьбе
ты героиня Гёте, ты – Сперата*.

Последнее из известных стихотворений О. Мандельштама написано в Воронеже в мае 1937-го. Это “Как по улицам Киева-Вия...”, посвящённое

Надежде Мандельштам. Последнее стихотворение Б. Пастернака, написанное в январе 1959 года, называется “Единственные дни”. Последняя его строфа:

И полусонным стрелкам лень
ворочаться на циферблате.
И дольше века длится день,
и не кончается объятье.

Тем же январём 59-го датировано и написанное чуть раньше, далеко не такое умиротворённое – “Нобелевская премия” (“Я пропал, как зверь в загоне...”). Но в феврале были дописаны ещё две строфы в конце, так что это стихотворение можно считать более поздним:

Всё тесней кольцо облавы,
и другому я виной:
нет руки со мною правой,
друга сердца нет со мной!

А с такой петлёй у горла
я б хотел ещё пока,
чтобы слёзы мне утёрла
правая моя рука.

Эти две строфы, связанные с эпизодом в отношениях Пастернака с О. Ивинской, были им потом в белой тетради заклеены.

Одно из последних (скорее всего, последнее) стихотворение Георгия Иванова – о недолговечности человеческого бытия:

Поговори со мной ещё немного,
не засыпай до утренней зари.
Уже кончается моя дорога,
о, говори со мною, говори!

Пускай прелестных звуков столкновенье,
картавый, лёгкий голос твой
преобразит стихотворенье
последнее, написанное мной.

* Сперата – персонаж романа И.В. Гёте “Годы учения Вильгельма Мейстера”.

Стихотворение адресовано жене Ирине Одоевцевой. Страшное и лёгкое одновременно, оно соединяет здесь прошлое с будущим, живого с мертвецом, поэта с человеком.

Арсений Тарковский, сам того не ведая, вызвал к жизни стихотворение М. Цветаевой, оказавшееся последним. У кого-то в гостях он прочёл своё скорбное стихотворение, обращённое к дорогой ушедшей тени: “Стол накрыт на шестерых...”. На Марину оно произвело неожиданно шоковое впечатление. В простеньком стихе Тарковского – явном подражании Ахматовой (“Там шесть приборов стоят на столе, и один только пуст прибор” – “Новогодняя баллада”) – Цветаева вычитала своё, наболевшее. “Стол накрыт на шестерых”: близких, родных. Ждут шестого – шестую – ту, что ушла, умерла 12 лет назад (у Ахматовой, напротив, пустой прибор поставлен тому, “кого ещё с нами нет”, то есть ещё живому, ибо за новогодним столом – ушедшие, тени). 6 марта 1941 года Цветаева пишет ответное стихотворение Арсению Тарковскому – своей последней любви – исполненное горечи, обиды, упрёка:

Всё повторяю первый стих
и всё переправляю слово:
“Я стол накрыл на шестерых”.
Ты одного забыл – седьмого.

Ты стол накрыл на шестерых,
но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых –
быть призраком хочу – с твоими,

своими... Робкая, как вор,
о – ни души не задевая! –
за непоставленный прибор
сажусь незваная, седьмая.

Раз! опрокинула стакан!
И всё, что жаждало пролиться, –
вся соль из глаз, вся кровь из ран –
со скатерти – на половицы.

И – гроба нет! Разлуки нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть – на свадебный обед,
я – жизнь, пришедшая на ужин.

Никто: не брат, не сын, не муж,
не друг, и всё же укоряю:
ты, стол накрывший на шесть душ,
меня не посадивший с краю.

Эти стихи были написаны Цветаевой за полгода до самоубийства. В особую группу можно выделить последние (прощальные) стихи поэтов-самоубийц (Есенин, Маяковский), стихи поэтов, знавших о своей смерти или предчувствовавших её. Это стихи о предсмертной тоске, о расставании с жизнью. Последнее стихотворение А. Фета написано 15 сентября 1892 года, за два месяца до кончины:

Тяжело в ночной тиши
выносить тоску души
перед безглазым домовым,
тёмным призраком немым,
как стихийная волна
над душой одна вольна.

Но зато люблю я днём,
как замолкнет всё кругом,
различать, раздумья полн,
тихий плеск житейских волн.
Не меня гнетёт волна,
мысль свежа, душа вольна;
каждый миг сказать хочу:
“Это я!” Но я молчу.

Последнее стихотворение Райнера Марии Рильке, умершего от лейкемии в декабре 1926 года, позволяет понять, как мучительно протекала болезнь. Последняя запись в записной книжке: “Пусть завершит мученье тканей тела последняя губительная боль”.

Николай Заболоцкий ещё в ноябре 1947-го года напишет одно из лучших своих стихотворений “Завещание”, в котором выразит свою давнюю выстраданную мысль о посмертном существовании человека (“Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя...”). Но после него поэту будет суждено прожить ещё 11 лет. Последним его стихотворением станет хрестоматийное “Не позволяй душе лениться...”.

Последним стихотворением И. Бродского считается перевод с английского “Из У.Х. Одена” (1994):

Часы останови, забудь про телефон
и бобику дай кость, чтобы не тьякал он.
Накрой чехлом рояль, под барабана дробь
и всхлипыванья пусть теперь выносят гроб.

Последняя его строфа:

Созвездья погаси и больше не смотри
вверх. Упакуй луну и солнце разбери.
Слей в чашку океан, лес чисто подмети.
Отныне ничего в них больше не найти.

Читая сейчас эти стихи, трудно избавиться от ощущения, что в них – трезвое осознание поэта близящейся смерти и спокойное, мужественное ожидание неизбежного.

Поэты Серебряного века в Саратове

Я с предубеждением отношусь к “местечковому” патриотизму, считая, что поэт, если это поэт истинный, – достояние всей культуры и совершенно неважно, где он родился, жил и похоронен: в Москве, Венеции или на какой-нибудь станции Зима. Мне претит, когда изучают и почитают поэта не за стихи, а за то, что он местный. И тем не менее, когда узнаёшь, что любимый поэт имеет какое-то отношение к твоему родному городу – жил здесь или бывал когда-то – то испытываешь ни с чем не сравнимое чувство радости и гордости. Подумать только – твой кумир ходил по этим же мостовым, видел те же дома и деревья, и во многом благодаря ему теперь всё это увидят, узнают тысячи других людей в разных уголках земли. Сергей Гандлевский в одной из своих книг заметил: “Все эти губернские, областные и районные центры для большинства москвичей так и останутся ничего ни уму, ни сердцу не говорящими административно-территориальными единицами, пока не найдётся талантливый человек, который привяжется к какой-нибудь дыре и замолвит за неё слово. Тогда на культурной карте появляется новая местность, напоминая нам, что всюду жизнь”. Благодаря каким же поэтам появился “на культурной карте” наш Саратов? Расскажу о нескольких героях моих литературных вечеров, которых что-либо связывало с нашим городом.

Михаил Кузмин родился в Ярославле 6 октября 1872 года в многодетной семье старинного дворянского рода. Отец – отставной морской офицер, мать – правнучка знаменитого французского актёра, приглашённого в Россию при Екатерине. В стихотворении “Мои предки” Кузмин поднимает их всех из забвения, а вместе с ними – целый срез русской жизни. Вскоре семья Кузминых переезжает в Саратов, где прошло детство и отрочество поэта. В Госархиве Саратовской области хранится “формулярный список о службе члена Саратовской судебной палаты А.А. Кузмина” – отца Михаила, который в феврале 1874 года приказом министра юстиции был назначен на службу в Саратов. В Саратове действительный статский советник А.А. Кузмин служил до начала 80-х годов. Жила семья Кузминых в доме №21 по Армянской (ныне Волжской) улице. Дом, к сожалению, не сохранился.

М. Кузмин посещал ту же гимназию, что и Чернышевский. Впечатлений от Саратова в стихах и прозе Кузмина почти не сохранилось, если не считать беглого пейзажа в неоконченном романе “Талый след”: “От Саратова запомнил жары летом, морозы зимой, песчаную лысую гору, пыль у старого собора и голубоватый уступ на повороте Волги-Увека. Казалось, там всегда было солнце”.

Уже взрослым человеком Кузмин подолгу проводил время в заволжских скитах, бывал в имениях родных и знакомых, снимал комнату под Нижним Новгородом. Впечатления нашли отражение в стихах:

Я знаю вас не понаслышке,
о верхней Волги города!
Кремлей чешуйчатые вышки,
мне не забыть вас никогда...

София Парнок с ранней юности вела крайне независимый, кочевой образ жизни, в чём выразался её бунт против домашнего уюта и мещанских добродетелей.

Былое – груз мой роковой –
бросаю чёрту на потребу.
Над бесприютной головой
пылай, кочующее небо!

Она рано ушла из дома и жила с тех пор во временно снятых квартирах, углах, меблированных комнатах. С 1909 по 1932 годы только московский свой адрес Парнок поменяла 17 раз. А лето 1910 года она провела в Саратовской губернии. Правда, впечатлений от этого лета в её стихах не отразилось. А вот Фёдор Сологуб такие впечатления нам оставил. 3 февраля 1914 года он читал лекцию об искусстве в Саратове в помещении бывшего Коммерческого клуба на улице Радищева (ныне Дом офицеров). Вот цитата из газеты “Саратовский листок” от 5 февраля 1914 года (№30): “Лекция Фёдора Сологуба в Коммерческом клубе прошла при переполненном зале, вызвав значительный интерес в публике. С внешней стороны речь Сологуба, хотя и монотонная, построена красиво и представляла ряд своего рода афоризмов. После сообщения Ф. Сологуб прочитал несколько собственных стихотворений, вызвав шумные аплодисменты. Прений за поздним временем не было”. А вот что по поводу той же лекции пишет Сологуб своей “Малимочке” – жене Анастасии Чеботаревской: “Лекция была не публичная, а только для членов клуба и гостей; члены бесплатно, а гости – по 50 к. (характерные высказывания в его письмах: “Публики было на 205 рублей”). Там было столпотворение вавилонское, такая толпа, какой у них ещё ни разу не было на их собраниях – более 1000 человек. Много молодёжи, но много и почтенных особ. Слушали необычайно для такой толпы внимательно. После лекции просили стихов”.

На другой день поэт посетил наш Радищевский музей, который ему не понравился. Из письма жене: “Вчера был в Радищевском музее. Картины очень неинтересны, только и есть, что четыре небольшие Борисова-Мусатова. Много копий, и весьма посредственных. Лучше там фарфоровые вещицы Императорского фарфорового завода, старые вещи – кошельки, бумажники, шитые бисером, китайские кое-какие вещи, стол письменный и кресло Тургенева”.

Сологуб описывает в этом письме забавный эпизод, случившийся тогда в Саратове: “Передо мной в четверг был вечер о футуризме. Четыре местных молодых шалопая выпустили глупый альманах под футуристов, назвали себя психофутуристами. Публика и газеты местные приняли это всерьёз; в газетах было много статей, публика альманах жадно раскупала. На вечере в Коммерческом клубе эти господа открыли, что они пошутили, чтобы доказать, что футуризм – нелепость. Теперь саратовцы очень сердятся на то, что их одурачили”.

В апреле 1916 года Велимира Хлебникова мобилизовали в царскую армию. В отличие от Гумилёва, рвавшегося на войну, Велимир служить не хотел. Он видел в армии несвободу, покушение на творчество, на свой ритм жизни и готов был на всё, чтобы вырваться из этой казарменной неволи. Свой протест против армейской муштры Хлебников выражал своеобразно. Он чудил: отдавал честь, прикладывая полусъеденный батон к фуражке. Кисло отвечал “мерси” вместо уставного: “Рад стараться!” Маршировал по городу с ложкой каши в руке. Что было делать с этим тихим солдатом Швейком? Полковое начальство переводило Хлебникова из полка в полк, из города в город: Астрахань – Царицын – Казань – Самара. А в декабре 1916 года он оказался в Саратове.

Полк, где он служил, был расквартирован на Университетской улице, где стояли казармы. Хлебников пишет душераздирающее письмо знакомому врачу-психиатру, профессору Военно-медицинской академии, художнику и теоретику искусства Кульбину о том, что ему приходится терпеть в саратовской казарме: “Опять ад перевоплощения поэта в лишённое разума животное, с которым говорят языком конюхов. Шаги, приказание, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий. Таким образом, побеждённый войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт”.

Врач с сочувствием отнёсся к поэту. С помощью врача Хлебников оказался на Сабуровой даче, то есть в Харьковской губернии, в психиатрической больнице. Там с чистой совестью дали заключение, что состояние нервно-психического здоровья пациента не позволяет ему служить в армии. Так бесславно закончилась “военная карьера” председателя земного шара. К сожалению, Саратов видел в нём тогда лишь одного из нерадивых новобранцев, а не поэта.

Двадцатилетнего Бориса Пастернака в 1917 году неисповедимые пути Господни завели в наш Балашов, где его ждала новая любовь (после бурного увлечения Идой Высоцкой) к Елене Виноград, будущей виновнице и

адресатке знаменитой пастернаковской книги. Он был знаком с ней ещё с 1909 года, в предыдущем сборнике “Близнец в тучах” есть посвященное ей стихотворение, где об их встрече и внезапно вспыхнувшем чувстве Пастернак сказал: “Как с полки жизнь мою достала и пыль обдула”. Несколько дней своей жизни Пастернак провёл в Балашове, после чего балашовская тема стала одной из главных в его творчестве, а Балашов предстал символом, знаком решающего поворота в жизни, пунктом на пути духовного развития.

Основываясь на семейном архиве, материалах государственных архивов, сын поэта Евгений Пастернак одну из глав своей книги “Борис Пастернак. Материалы для биографии” посвятил балашовскому периоду жизни своего отца, истории неразделённой любви. Известно, что Е. Виноград училась в Москве на высших женских курсах, а её брат Валерьян, с которым дружил Пастернак, – в университете. Как-то раз девушка увидела объявление с призывом принять участие в создании на местах органов земского и городского самоуправления. Группа собиралась в Саратовскую губернию – в Балашов и окрестные селения. Елена принимает решение летом 1917-го года отправиться в Романовку. Её брат останавливается в Балашове. Девушка регулярно навещает его в уездном городе. В начале июля Пастернак приезжает в Романовку, чтобы развеять возникшее между молодыми людьми недопонимание. А в начале сентября – ещё одно свидание поэта с любимой, теперь уже в Балашове.

И без того душило грудь,
и песнь небес: “твоя, твоя!”
и без того лилась в жару
в вагон, на саквояж.

И без того взошёл, зашёл
в больной душе, щемя, мечась,
большой, как солнце, Балашов
в осенний ранний час.

Е. Виноград сохранила в памяти все подробности их встреч. Хорошо помнила медника около дома, где она жила в Балашове, юродивого на базаре около Свято-Троицкого собора (на месте нынешнего Куйбышевского парка), упомянутых в стихотворении “Балашов”:

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
в природе лета было жечь.

Это было жаркое лето 17-го года. С наступлением осенних холодов пришёл к концу и роман поэта. Известие о свершившейся в Петербурге

революции ускорило возвращение Пастернака в Москву. Елена Виноград вышла замуж за владельца мануфактуры под Ярославлем, чтобы успокоить мать, волновавшуюся за её будущее. А Борис Пастернак, ещё долго мучимый этой любовной страстью, в 1922 году создаёт свою лучшую книгу “Сестра моя жизнь”, где почти все стихи посвящены истории их любви.

Поэт Иван Елагин (Матвеев) родился 1 декабря 1918 года во Владивостоке. Отец – известный поэт-футурист Венедикт Матвеев дал сыну экзотическое имя: Уотт-Зангвильд-Иоанн-Март. Близкие звали его Залик, а семейное прозвище было – Заяц. В документах же позже он был зафиксирован как Иван. Детство Залика-Ивана, а точнее, 1929-30-е годы были связаны с нашим Саратовом и Энгельсом (Покровском). Об этом мы читаем в его поэме “Память”:

Это тоже город над рекой,
только над рекой совсем другой.
Вон мальчишка с удочкой в руке
по камням с отцом спешит к реке.
Мне пошёл одиннадцатый год.
За плотом плывёт по Волге плот.
Года два ещё придётся нам
прыгать по саратовским камням.

Снова Волга. Волга и паром.
Мы уже на берегу другом.
Чистенькие домики. Уют.
Немцы тут поволжские живут.
Был Покровском город наречён,
Энгельсом теперь зовётся он.

Однако в Саратов будущего поэта привели обстоятельства весьма драматические. Там отбывал ссылку его отец, а Залик беспризорничал в Москве (мать лежала в психиатрической клинике), пока друг семьи (впоследствии — писатель Фёдор Панфёров) не отловил Ивана на Сухаревке и не отправил к отцу в Саратов. Там же, в Саратове, произошла встреча юного поэта с Николаем Клюевым:

Как-то раз в Саратове с отцом
мы по снежным улицам идём.
Фонари. Снежок. Собачий лай.
Вдруг отец воскликнул: “Николай
Алексеич!” Встречный странноват –
шапка набок, сапоги, бушлат.
Нарочито говорит на “о”.
Но с отцом он цеха одного.
“Вот, знакомьтесь, это мой сынок”.

(Снег. Фонарь да тени поперёк).
“Начал сочинять уже чуть-чуть.
Ты черкни на память что-нибудь
для него. Он вырастет – поймёт”.
Клюев нацарапает в блокнот
пять-шесть строк – и глухо проворчит
обо мне: “Ишь как черноочит!”
Тот автограф где теперь найду?
Взял отец в тридцать седьмом году.
Все его бумаги перерыв,
взяли вместе с ним его архив.

Каждый выбирает для себя

Прочла книгу М. Борцовой “После бала” и сразу следом – В. Соколовой “Око на сердце”. Они поразили меня своим контрастом. Не в уровне таланта (у каждой – свой мир, своя правда, своя жизненная ниша), а контрастом женской и человеческой судьбы. Абсолютная полюсность, антиподность, взаимоотрицаемость. Объединяет одно: одиночество. Не фактическое, социально-анкетное (обе работают, имеют детей, какой-то круг друзей и родных), а то – вопиющее в пустыне, воющее на луну, одиночество непонимания, не-внимания, одиночество души, которое трудно постичь непоэту. Но – какие разные попытки выхода из него, какие диаметрально противоположные способы поэтического и жизненного существования. У одной – бегство в себя, в “сны о тебе”, отчаянный прыжок в бездну, в омут своих страстей, в “трёхмерную плоскость” жизни. У другой способ спасения себя и своей души сконцентрирован в нескольких строчках:

Всю жизнь искать и не найти
любовь единственную, всё же
я поняла в конце пути,
что я Тебя искала, Боже.

Изверившись в земной любви, в человеческом тепле, она выбирает то, что незыблемо, что не предаст.

Все мои мысли – о Боге.
Нету родней никого.

“Каждый выбирает для себя”, – как сказал Левитанский. И всё же – чья истина мне ближе?

В книге Борцовой восхищает многое. Прежде всего – мощь дарования: удивительное богатство языка, буйство красок, роскошь метафор, прорывы в такие экзистенциальные высоты и глубины, что дух захватывает. В её рассказах есть что-то от Т. Толстой и Л. Петрушевской одновременно, во

всяком случае, у меня были именно такие ассоциации. Стихи тоже хороши, но рассказы – много сильнее, потрясение от них перекрывает впечатления от стихов, которым, на мой взгляд и вкус, порой не достаёт естественности, органики, мешает погоня за эффектной строкой, “красным словцом” в ущерб подлинности и простоте. А вот в рассказах – ничего ни убавить, ни прибавить. И как всё в них бесстрашно откровенно, как, говоря словами Белинского о Лермонтове, “страшно сильно и взмашисто!” Да, многих будет коробить и шокировать их натурализм, чернушность, сгущение мрачных красок. Но я вижу в этом безоглядную смелость художника, его способность идти до конца в выявлении сути вещей, отсутствие страха перед дисгармонией жизни.

У В. Соколовой есть строчки: “В общем, мало не покажется, кто взглянуть в себя отважится!” Борцова из тех, кто отважился. И там открылось такое... (“Лекарство от бессмертия”, “Когда я буду бабочкой”). Но не спешите бросать камень. У Романа Роллана в “Очарованной душе” есть место, где он рассуждает о нравственной чистоте, не отождествляя её со стерильностью. “Я не люблю, – писал он, – беленьких блеющих барашков, у которых капелька молочка висит на мордочке. Тот не человек, кто не боролся с жизнью и не оставил в её логове клочков своей шерсти. Нужно, нужно пройти и по грязи, и по терниям! Но не увязнуть”.

Валерия Соколова или, скажем, её лирическая героиня – полный антипод борцовской. В памяти всплывают лермонтовские мрачный Демон и ясная, безгрешная Тамара, саркастический Печорин и сердечный Максим Максимыч, пушкинские страстная Зарема и невинная Мария... Но они не так уж страшно далеки друг от друга, как это может показаться.

Себя казнить и миловать должна
лишь потому, что вечно я одна.
Себя кормить, поить и одевать,
купать себя, укладывая в кровать...
И нет просвета в призрачной судьбе.
Как надоела я сама себе!

Это крик женской души, боль одиночества, не находящего выхода, души, отчаявшейся найти родную душу и узревшей её в Боге.

Мир прославляет грех и плоть,
и ту любовь, что ранит сердце,
но есть любовь сильнее смерти,
которой любит нас Господь.

Воплощённая жажда чистоты, детская доверчивость миру...

В этом мире, полном гадости,
не хватает людям радости.

Как же велика потребность души в добре и свете, как не хочется ей мириться с мерзкой действительностью!

Задыхаясь в этом смраде,
я взываю: Бога ради!
Дай мне воздуха глоток!

Дай мне воздуха глоток,
а не этот газ угарный,
чтоб сияла лучезарно
лишь любовь сквозь бисер строк.

Ишь чего захотела! В памяти всплыло мстительное Елагинское:

Ах, как эти мечты вдохновенны!
Только музыка вовсе не та!
А не хочешь ли розовой пены,
что струей потечёт изо рта?

В жизни всё не так благостно, как в наших сладких мечтах и молитвах.
Там и грязь, и мрак, и боль, и смерть.

Это просто, так просто, так просто –
нас Господь для любви сотворил.

Не всё так просто, как нам бы хотелось. Вспомнились кстати стихи Л. Миллер:

Тебе – жестокие уроки,
а ты – рифмованные строки.
А ты – из глубины души
про то, как дивно хороши
прогулки эти меж кустами
ольхи. Твоими бы устами...

Люди обычно негативно реагируют на всё мрачное, трагичное, безысходное в литературе. Я помню, сколько было нареканий на мои книги “Письмо в пустоту”, “Ангелы ада” именно по этой причине. Даже со стороны самых верных читателей встречалось непонимание и неприятие. “Милая Наталия Максимовна, – писала мне Н.С. Могуева, – не концентрируйте Вы в своих стихах тоски и разочарований! Так хочется, чтобы Вы своё необычайное умение выразить мысль и чувство так, что мурашки по коже, чтобы этот дар расходовался на светлое и доброе! А в общем, я хорошо понимаю, что никакие советы ни к чему (это я о своих призывах идти в “осиянный храм”). “Стихи не пишутся – случаются”. И не слушайте Вы

старую больную бабку, которой хочется, чтобы её наболевшую душу тихонько нежили и гладили и напевали ей сладким голосом райские песни”. (Из письма от 5.06.2004). Как всем нам этого хочется, и молодым, и старым. Всё это славословие Бога в сущности – мольба о любви. Вера выполняет роль надежды, утешения, анестезии.

Не плачь, мой Ангел, ну пожалуйста, не плачь!
Пусть жизнь моя не так сложилась, как хотелось.
Приходит память, как безжалостный палач,
и боль души куда страшнее боли тела.

Ну как можно судить по законам поэтики эти вырвавшиеся из души строки:

И когда тебе на свете
одиноким будет очень,
попроси, как просят дети,
я приснюсь тебе, сыночек.

Вера в неземное замыкает человека на своих грёзах, обрекает его на ещё большее одиночество.

Не среди земных чумных пиров,
там, в небе, среди иных миров
моё созвездие сияет,
и пусть меня не слышат тут,
но там мои стихи прочтут,
а, может быть, уже читают.

В этом её духовный стержень, её спасение, но и – её обречённость. А здесь-то, среди чумных пиров кто будет порядок наводить? Не царское это дело? Надо “отважиться” и на это. На то ты и поэт.

Борцова отваживается на такой взгляд. Она не хочет себя тешить и убаюкивать сладкими сказками. Она безжалостно видит правду и не боится сказать её. Даже ту, которую пока только предчувствует. А ведь стихи, как известно, сбываются! “Как Вы не боитесь такое писать?” – спрашивала Цветаева Ахматову. Борцова не боится.

В этом доме давно паутиная ряска –
на обед и на завтрак, и даже на ужин.
В этом доме... А может быть, страшная сказка,
что никто никому в этом доме не нужен?

х х х

Рыдать в пыли, у плахи...Боль –
извечный рок жены. –
Последыш мой, мой сын, мой Бог,
мы миру не нужны?!

х х х

На просторном на свадебном ложе
пусть пылают не розы – ножи.
Накажи за меня её, Боже!
И меня за неё – накажи...

Так что же я выбираю для себя? Мир страстей? Свет Божьих истин?
Человеку нужно и то, и другое. Но истина, как всегда, где-то посередине.

Вспомнилось стихотворение Ирины Снеговой о старухе-соседке,
которая рассказывала о том, как любил её покойный муж-сапожник.

Зимой мой хозяин тачает, бывало,
а я уже лягу, я спать мастерица.
Он встанет, поправит на мне одеяло,
да так, что не скрипнет под ним половица.

И сядет к огню в уголке своём тесном,
не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек...
Дай бог ему отдыха в царстве небесном!
И тихо вздыхала: – Жалел меня очень...

В ту пору всё это смешным мне казалось,
казалось, любовь чем сильнее, тем злее,
трагедии, бури... Какая там жалость!
Но юность ушла. Что нам ссориться с нею?

Недавно, больная, бессонницей зябкой,
я встретила взгляд твой – тревога в нём стыла.
И вспомнилась вдруг мне та старая бабка, –
как верно она про любовь говорила!

Это стихотворение о вечных ценностях, о вечно кем-то избитых истинах. Когда я его прочла на лекции – оно перекрыло впечатления от всех стихов, прочитанных накануне, люди слушали его со слезами на глазах. Слишком поздно мы всё это понимаем, к сожалению.

Как соблазнителен демонический мрак Борцовой, как банален свет вечных истин Соколовой. “Отвергаю рай, где проститутка свеча! Выбираю

ад, где ангел в снегу!” – писал Л. Губанов. Это выбор безоглядной, оголтелой, нетерпеливой и нетерпимой юности. Но приходит зрелость души, и она выбирает иное...

О как наука эта нелегка!
У каждого в миру своя дорога.
И, слава богу, на земле пока
мне есть кого любить помимо Бога.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Из писем и отзывов читателей

Акrostих

Ни к чему изошряться в сонетах,
Акростих – это тоже форма.
Ты на свет появилась поэтом,
А поэт – хоть не сладко, да гордо...
Шаг поэта – движенье к барьеру,
Если только не вытравит веру
Ком горячий, щекочущий горло...
Радость образа – синяя птица,
Аромат на блокнотной странице –
Всё, как магу, подвластно тебе.
Чрево мира, разверстое настезь,
Ежедневное, трудное счастье...
Но поэту ль сдаваться в борьбе?
Как ты можешь, Наташа, скажи,
Остаться поэтом – и жить?

М. Муллин. 07.03.1980

Наташенька! Хорошей и доброй дороги к людям твоей книге, которая так порадовала меня! (“Любовь моя, сокровище...” – Н.К.) Такой светлый человек ты!

М.Чернышев. 10.02.1994
(надпись на подаренной книге
“Весёлая азбука”)

Здравствуйте, Наталья! (Извините, не знаю Вашего отчества). Пишет Вам одна из Ваших поклонниц. Купила сборник Ваших стихов “В логове души”. Два дня плакала над ним. Читала на работе женщинам, даже в сад с собой брала. Всем очень понравились Ваши стихи.

Я посвятила Вам стихи. Великим поэтам посвящают много стихов, Вы тоже посвящали стихи любимым поэтам. Я не поэт, конечно, может, что и не так написала, но Ваши стихи меня вдохновили, и мне захотелось посвятить их Вам. Извините, что в стихах я обращаюсь к Вам на ты. Но я обращаюсь не к Вам, а к душе Вашей, душе стихов.

Наталье Кравченко от благодарной читательницы

Хрупкий цветок хрустальный
с чистой, прозрачной душой,
Золушки лик печальный,
сказочный лик, неземной.

Как ты попала в Россию,
сердца свободного плен,
в дни, когда воют злые
ветры лихих перемен?

Мечешься пташкой раннею
между словами и болью,
кличешь душой израненной
к людям, лишённым воли.

Стонут они, сердешные –
трудно менять обличье,
маются души грешные
в новом тряпье заграничном.

Стоны их в мире затравленном,
шедших из глуби веков,
ты озарила пламенем
светлых своих стихов.

Словно печалью вытканый,
плач твой по “новой” России –
раны её открытые,
слёзы её вековые.

Верой в мечту наивную
вместе с тобой страдаю.

Строки твои надрывные
Бог тебе отпускает.

Галина Кирьянова. 24.06.1995

Сразу же прочла всю книжку стихов (“В логове души” – Н.К.), причём прочла дважды: закончила первый раз и сразу же начала читать повторно. Ничего более страшного я не читала. Ваши стихи потрясли меня до глубины души. Это настоящий вопль наболевшего сердца. Они до боли созвучны самым сокровенным мыслям людей, знающих цену порядочности, болеющих за разруху всего, во что они верили, за чувство бессилия при явном обмане, за попрание самых святых понятий. Наташа, я преклоняюсь перед Вами, перед силой и яркостью Ваших эмоций! Особенно большое впечатление на меня произвёл второй раздел, а в нём содержание 50, 61, 67, 85-й страниц. Я бы написала особенно затрагивающие меня строки конкретно, но книжки нет дома – я передала её своей приятельнице, чтобы она прочла, сняла ксерокопии и раздала нескольким нашим общим знакомым: грех держать такие строки, не знакомя с ними других!

Убеждена, что в ближайшие годы имя Кравченко Натальи станет известно всей России. Дай Вам Бог здоровья и многих лет жизни, чтобы не иссякли Ваши силы, Ваши эмоции, острота восприятия нашей мрачной действительности.

У меня есть несколько книг с дарственными надписями Дольд-Михайлика, Горбача, Кешокова, Кулиева, но Ваша дарственная надпись будет для меня самой дорогой. Спасибо Вам, одуванчику по внешности и боевой гранате по силе изложения!

Л.А. Козлова, г. Нальчик
(из письма от 11.10.1995)

Пусть мышление чувства
Ликует и блажит!
Спасибо за искусство
Жить жизнью не по лжи!

Т. Молодиченко
(тетрадь отзывов от 6.01.1996)

Спасибо за Свет Ваших глаз и Огонь Сердца.

Архипов Сергей
16.03.1996 (тетрадь отзывов)

Уважаемая Наташа! Григорий Алексеевич Явлинский ознакомился с Вашим письмом и поручил мне ответить на него.

Прежде всего он просил передать слова благодарности за поддержку и веру в победу на президентских выборах, а также за добрые слова в его адрес и пожелания на будущее, выраженные в прекрасных стихах.

Надеемся и в дальнейшем на Ваше понимание, так как практика показывает, что успешно решать задачи, выдвигаемые современной политической жизнью России, можно только рука об руку с единомышленниками.

Ещё раз спасибо за письмо.

С уважением

Е. Ивлева (специалист-эксперт
аппарата фракции “Яблоко”)
05.07.1996

Наталии Кравченко с уважением и признательностью за поддержку, без которой всё утратило бы смысл. Спасибо за стихи.

Ваш **Явлинский**. 24.10.1996
(надпись на подаренной книге
“Экономика России”)

Слава те, Господи! У нас родился настоящий поэт!

В. Алифанов. 23.03.1997
(тетрадь отзывов)

Для меня стихи Наталии Максимовны – это разговор с близким человеком. Читаешь её стихи – и пропадает чувство одиночества. Есть человек, который думает, как я, и пишет так, как мне бы хотелось, чтобы писали стихи. Мне близок её стиль, немного классический, немного бытовой, немного камерный, мне близка каждая её строчка, каждая боль её души, её надорванного сердца. Я очень рада, что немного знакома с ней, что живёт она в Саратове. Когда мне очень плохо и грустно, её стихи помогают мне обрести чувство гармонии и покоя, они мне родственны по духу. Как хорошо, что она есть на свете.

Галина Сингерцева
(из письма в библиотеку
от 03.01.1997)

Я часто перечитываю Ваши стихи, но одно из них – самое любимое, не только моё, но и всей семьи. Лёня, младший, даже прослезился, когда читал его – стихотворение о женщине, которую наша жизнь лишила прежней

гордости и научила принимать милостыню (стихотворение “В булочной” – Н.К.).

Л.А. Козлова (из письма
от 13.12.1997), г. Нальчик

Семейный портрет в интерьере
разодранной в клочья страны.
Сквозь горести и потери
как лица освещены!

Пропитан тоскою острожной
сам воздух, и души в крови. –
А этим двоим так надёжно
в прозрачных ладонях любви.

Грохочут разборки и войны
и рядом совсем, и вдали.
А двое светлы и спокойны –
с ума они, что ли, сошли?

Вокруг кто ворует, кто клянчит,
кто в ненависти хрипит.
А девочка-одуванчик
о веке прекрасном твердит.

Старинною вазой из шкафа
изъят наш уклад и разбит.
Но времени Голиафа
опять побеждает Давид.

И, глядя на них, понимаю,
как встать над бедой и судьбой:
не драться, все копыя ломая,
а просто – остаться собой.

И, значит, вернётся, я верю,
всё то, чем держалась страна.
Семейный портрет в интерьере.
И залита солнцем стена.

Это – лишь малая толика тех добрых слов, которых вы действительно заслуживаете, дорогие друзья. Оставайтесь такими.

Наталья Медведева

Февраль 1997 г.

Многоуважаемая Наталия Кравченко! Примите от меня, художника, большой привет и пожелания успехов в творчестве. Ваш томик стихов “Сокровенное”, который мне принёс фотохудожник Гаврилов Вячеслав Иванович, я очень внимательно и с любовью прочитал, и мне ваши стихи очень понравились. Я выразил свои впечатления в стихотворной форме. Примите и не обессудьте.

Поэту Н. Кравченко от влюблённого
художника и немного поэта

Я рифмой недостойной грубой
скажу о прелести строки.
Мне “Сокровенное” так любо.
И от души скажу: “голуба”,
влюблён и “за”, и “вопреки”!

Мне жаль, поэт, я не кудесник,
судьбы стихов не предсказать.
Сказать могу: стихи чудесны.
И есть певучие, как песни,
что невозможно не признать.

Прошу прощения за слово “голуба”.
С уважением

Александр Прели

(из письма от 03.01.1998)

P.S. А Вам, поэт, я, обожатель,
хочу признаться от души:
мне Сатана или Создатель
сказал: “Поэта напиши!”

И, значит, видно не напрасно
он мне доверил, может быть,
с любовью образ Ваш прекрасный
на полотне запечатлеть.

А. Прели. 29.01.1998

Читаю книгу с большим удовольствием! (“Публичная профессия” – Н.К.). На мой взгляд, это очень женская книга. С одной стороны – всё нараспашку, но, с другой стороны, остаётся что-то неразгаданное, таящее в себе неожиданное. Мне думается, что книга отвечает на вопрос первых строк книги – откуда у такой хрупкой и нежной женщины берётся столько таких сил и энергии.

Е. Бурылин
(открытка от 07.03.1998)

Уважаемая Наталия Максимовна! На Вашем творческом вечере мы летали в космос и опускались на землю. И всё это благодаря правдивому поэтическому слову. Я хотел бы видеть таких людей, как Вы, в нашем правительстве на всех уровнях.

Владимир Щербаков
28.03.1998 (тетрадь отзывов)

Преклоняюсь перед огромной личностью, поэтессой, обладательницей великого дара. Уважаемая Наталья Максимовна, простите меня за то, что не могу сказать лучше, мой язык беден.

С огромным уважением

Ю.И. Семушин
14.03.1998 (тетрадь отзывов)

Вы одели мои мысли, неготовые и неверные, в верные и готовые слова. Я увидела в Вас человека глубоко верующего и стремящегося к красоте. Дай Бог Вам любви во всём.

Анна Ульянова, г. Энгельс,
14.03.1998 (тетрадь отзывов)

Ты любишь родную природу,
ты можешь волшебницей стать.
Тебе посвятила бы оду,
да где же таланта мне взять?

А.С. Фомина, читатель.
28.03.1998

Наталия Максимовна! Ваши лекции, Ваши беседы, Ваше творчество – это как бы островок света и доброты в нашем беспокойном мире. Помните, как в фильме Тарковского “Солярис” – посреди этого огромного, непонятного океана – родной дом, сад, дождь, пруд, надкушенное яблоко на

столе – островок тепла и любви. Ван Гог сказал: “Главное в искусстве – любить людей”. Это относится ко всему, что Вы делаете. Спасибо Вам за то, что Вы так чувствуете и делитесь этой радостью с другими. С уважением

Владимир Мишле. 28.03.1998
(тетрадь отзывов)

Кусочек радуги, щепотку тишины,
глоток дождя, пять капель Пастернака,
тепло ладони, краешек луны,
свежинку вечера... Не много ли, однако?

Сирени кисть, соловушки фальцет,
улыбки четверть, чу-у-уточку надежды –
и вот – гляди! – уже готов рецепт,
как выжить нам и видеть мир, как прежде...

Человек, в 8-ми строчках уместивший рецепт не только “как выжить”, но и как сохранить юношеское, чистое видение мира, НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ ХОРОШИМ!!!

Вы, Наталия Максимовна, очень хороший человек, чему я рад за всех нас, Ваших друзей! Этим пятикнижием Вы завершаете свой первый большой жизненный круг. Теперь Вы вполне могли бы жить спокойно на одни дивиденды. Но, насколько я Вас знаю, такая жизнь для Вас – существование, чего Вы органически не переносите. Вы – боец, хотя и в очень хрупкой оболочке.

Я желаю Вам – и всем нам! – дальнейших поэтических мук и побед и жду от Вас ещё много-много творений...

Будьте здоровы на радость Вашему счастливому философу и всем нам, Вашим почитателям! Новых побед Вам!

С уважением

Арвид Козлов. 28.03.1998
(тетрадь отзывов)

Наталье Максимовне на память

Вы для меня – тот человек,
что уберёт от смерти.
Все Ваши книги и стихи –
мои друзья, поверьте.
Вы – та соломинка в реке,
что подарила жизнь.
Вы для меня – мой лучший друг,
теперь я буду жить.

Спасибо Вам за жар души
стихов, рассказов, писем.
Вы – как глоток живой воды,
колодец высших истин.
Благодарю судьбу за то,
что слышу Вас и знаю.
Дай Бог Вам счастья и любви, –
иного не желаю.

Ирина. 30.03.1998

Драгоценная Наталия Максимовна! Я счастлива, что живу в одном городе с Вами, что я Ваша современница. Вы – поэт с большой буквы. Читаю и перечитываю Ваши сборники стихов, и всё-всё находит отклик в душе. Проза – тоже хорошо, всё так правдиво и без позы, всё это жизнь, как она есть. Спасибо Вам за Ваше творчество!

Г.Г. Лазаренко
(из письма от 11.04.1998)

Наталия Максимовна, я благодарна Вам за глубину и всеохватность Ваших лекций, за высокую культуру общения со слушателями, за эстетику, за Вашу красивую образную литературную речь, за то, что Вы – Вы: ПОЭТ.
С благодарностью

В.М. Авдеева, преподаватель
гимназии №4, 11.04.1998
(тетрадь отзывов)

Саратовской поэтессе и писательнице Наталье Кравченко

Ты распахиваешь душу
и открыта для людей,
тайны вытащив наружу.
Ты герой, а не злодей!

Взгляд объемлет чуть печально
будто, кажется, весь мир.
Ты, как идол, идеальна.
Должен быть таким кумир.

Быть хочу с тобой похожа,
Чтоб сказать не в бровь, а в глаз.
Честность мне всего дороже.
А она ведь есть у нас.

Пусть источник вдохновенья,
как фонтан, сильнее бьёт.
И не знает стих забвенья,
и бессмертно пусть живёт.

Елена Калякина. 11.04.1998

...Вы знаете, своеобразная магия исповедальности так приближает ранее незнакомого человека, делает его таким близким, понятным, родным, что у меня появились такие спонтанные стихи, в которых обращение на “ты” – не фамильярность, а признание духовного родства.

Ты сестра мне по духу,
родная сестра.
Нам с тобой повстречаться
настала пора.
Ты – потерянный в детстве
любимый близнец.
Как стучит в унисон
двуединство сердец!
Но душой дотянуться
пока не могу.
Одиноко стою
на другом берегу.

Н. Шаховская
(из письма от 10.07.1998)

Не зря я попросила Вас подписать мне книгу “Совпадающей по фазам”, так как почувствовала сразу родственную душу, чему сама не раз удивлялась, читая книгу (“Будьте Вы благословенны” – Н.К.): ход мыслей, сравнения, ассоциации, поведение во многих случаях совпадали с моими. Книга, т. е. “Истории моей любви” – как будто обо мне, если точнее – об одной моей ипостаси – открытой, искренней, спонтанной, эмоциональной...

Струна звенит, звенит струна –
читаешь ты стихотворенье,
и камертоном для меня –
души мятежное горенье.

Ты на костре, и пламень чувств
тебя объемлет величаво.
Энергетический канал
в нас возродит твоё начало.

Н. Шаховская. 24.10.1998

Знаете, какой Ваш постоянный мотив мне очень близок, на него душа сразу откликается, как колокольчик, только тронь: эта неизбывная тяга к идеальному, светлому, чистому, это понимание, что самое интересное в жизни – то, что не состоялось. “Но душа-то знает: было всё. Больше: это лучшее, что было”.

...Начиталась Ваших стихов, и мне так хорошо стало и спокойно, теперь долго ничего писать не буду, Вы уже все сказали, и именно так, как мне бы хотелось...

Н. Шаховская
(из письма от 11.12.1998)

Я слушала Вашу лекцию “Живое и мёртвое” и внутренне радовалась, что Вы написали её, я думала об этом всё время, как стала ходить в литобъединение и слушать чужие стихи, и Вы как бы озвучили мои мысли.

Н. Шаховская
(из письма от 22.12.1998)

Сонет

Под пушкинским портретом
снегурочкой под ёлкой,
ах, в воздухе нагретом
с дымком над речью колкой,

ты с микрофоном в левой
и с книгой в правой длани,
тавлейной королевой
идёшь походкой лани.

Саратовской читалкой
с душою человека –
живой исповедалкой
Серебряного века, –

живою поэтессой,
при жизни всем известной.

Владимир Федотов
16.01.1999

Поэтов мелкотравчатых
печатают в журнале.
Прочту Наталью Кравченко
живьём, в оригинале.

В. Федотов. 06.02.1999

От всей души благодарю за тёплое прикосновение к сердцу, без которого жизнь пресна и неинтересна.

Олег Алексеев, зам. редактора
еженедельника “Грани”.
06.02.1999 (тетрадь отзывов)

Спасибо, Наташенька, что Вы есть на этом свете! Как хорошо, что Вы пишете, творите доброе для всех нас.

С любовью к Вашему творчеству и делам

А. Ерохин. 20.02.1999
(тетрадь отзывов)

Уважаемая Наталия Максимовна! Прочитала Ваши книги “Сокровенное”, “Будьте Вы благословенны”, “Звезда или хлеб?”, и у меня появилось своё, субъективное видение Вашего творчества.

Живёт девочка с хорошо открытым творческим каналом, с устойчивой внутренней организацией, но, обладая такими данными, она почему-то ищет опору не в себе, а у мужчин. Нашли себе иллюзию опоры у Дольского. Сколько энергии потрачено впустую на обожествление талантливого человека, на все эти эмоциональные охи и ахи...

Гаврилова Наталья Ивановна
г.Энгельс
(из письма от 20.02.1999)

Спасибо Вам за необычные лекции и светлые книги. А за невольные заблуждения Бог Вас простит – ведь Вы творите добро.

Будьте Вы благословенны. С уважением и благодарностью

Чванова Н.Г.
(из письма от 26.02.1999)

Наталия Максимовна! Вы – наше солнышко. Спасибо за свет и тепло. Спасибо, что возвращаете нас в мир поэзии. Мы становимся лучше. Спасибо.

Александрова Зоя Фёдоровна
13.03.1999 (тетрадь отзывов)

Я прочла эту книгу на одном дыхании (“Публичная профессия” – Н.К.). Да, вот это судьба. Эпиграфом могли бы послужить известные строки: “И вечный бой...”. Зависть. Страшное чувство. Кто-то здорово сказал: “Истинные таланты обладают печальным свойством вызывать ненависть серости”. Как это ни горько, но это почти наше национальное качество. Относитесь к этому как к неизбежности, хотя я понимаю, что это очень непросто.

...Читаю главу о саратовских поэтах. Хохотала до слёз. Ваша коллекция “шедевров” бесподобна. Да, Ваша критика нелицеприятная, остроумная, резкая, хлёсткая. Нелегко её пережить. И стихи Ваши намного выше уровнем (на несколько уровней!), чем критикуемые, так что же тут размазывать, не лучше ли, когда человек услышит мнение высокого профессионала, задумается и, глядишь, сумеет сам подняться выше со временем. Такое хирургическое вмешательство бывает на пользу.

...Ваши стихи о животных достают до печёнок. Ваш рассказ о Тэдди трогает до комка в горле. Дай Вам Бог сил и здоровья, творческих успехов на пользу всем нам. С уважением

Нина Сергеевна

Экономьте немножко себя – немножко. Будьте счастливы.

(из письма Н. Могуевой
от 30.03.1999)

Мне ещё дали на несколько дней ту же Вашу книгу (“Публичная профессия” – Н.К.). Читаю теперь выборочно. Списываю стихи и постоянно разговариваю с Вами. Завтра пойду на Ваш творческий вечер. Жду!

(из письма **Н. Могуевой**
от 02.04.1999)

Милая, дорогая Наталия Максимовна! Спасибо (а слово спасибо – это сокращённое от “спаси Бог”/, спаси Вас Бог за всё Ваше творчество, к которому я впервые прикоснулась! В тот же вечер – после Вашего творческого вечера, я написала стихотворение. В нём, конечно, полно недостатков, но то, что оно вылетело из души – не сомневайтесь.

Встреча

Злу и укоризне
верить не спеши.
Отдохни от жизни
в логове души.
Н. Кравченко

Мы жили под одними небесами,
и Волга нам нашёптывала сказку,
и Муза, прилетая к нам ночами,
дарила вдохновение и ласку.

Пути Господни неисповедимы,
идём наощупь мы в кромешной мгле.
Подумать только, что вполне могли мы
не встретиться на суетной земле.

Но что это?.. Остановись, мгновенье!
О, как стихи свежи и хороши!
Печаль и страсть, и счастье озаренья... –
Я заглянула в “Логово души”.

Спасибо Провидению за встречу.
(И как же долго я шагала к ней!)
На Ваш призыв всем сердцем я отвечу.
Я пью стихи и жизнь люблю сильней.

3 апреля. Ночь.

Пришёл следующий день, я читала во все свободные минуты Ваши стихи, и во мне что-то билось, кипело. Это всегда повторяется, когда “найдёт на душу стих”. Вы это здорово выразили:

Надо в комнате убратся –
я пишу стихи.
Надо делом заниматься –
я пишу стихи.

Я оставляла Ваш сборничек (“В логове души” – Н.К.) и занималась делами, но тут же хватала его и снова читала и перечитывала.

Наталия Максимовна, никогда не говорите, что Вы – безбожница. Все Ваши стихи проникнуты обращением к Богу – такие прекрасные, светлые слова! “Творец высокий”, “тайна вещей божественных слов”, “Божий глас”, “божьи дети”, “немота, переводимая на живой язык Христа”, “невидимый

Творец”, “небесный хлеб души”, “утоли моя печали” – разве всё это мог написать человек без Бога в душе?!. Да, я целиком разделяю Ваш взгляд: Бог внутри нас, единение с Богом должно быть не с крестом на декольте и не со свечкой в руке у всех на виду, а в очень личном, интимном, душевном общении, в чистоте души, в доброте, в любви к людям, природе, животным и т.д.

Набожность напоказ,
вера лицом наружу.
Бог не на небе – в нас!
Взор обратите в душу.

Да, это – в самую точку!

...Мне кажется, я нашла в Ваших строках кратко выраженное основное содержание Вашей поэзии:

Неизменное в вечно текущем,
неразменное в сутолке дня. (Здорово!)

Но пью и пью хмельное зелье.
Отнимут чашу – и умру. (Господи, как здорово!)

Читаю я, читаю Ваши стихи и понимаю: воспламенённая душа и мастерство –лучшего сочетания не придумаешь – это и есть талант.

Пока я читала Ваш сборник, чувство восхищения как-то, наверное, копилось, и на 155 странице прорвалось мурашками и комком в горле. “Я о тебе давно не плачу” – это стихотворение пронзительное, – и голос природы, и неосуществившаяся любовь – такая чистота, такой аромат в этом стихотворении! Такое же пронзительное – о фазанихе (“Чучело” – Н.К.). Мне кажется, Лев Озеров как-то неудачно выразил мораль этого стихотворения, как-то неуклюже. Тут просто: объектом нашей окрылённой любви часто становится чучело. И что тут поделаешь. Будем и будем обжигаться (“Во всех нас есть частичка глупого, фазаньего!”).

Мне ещё предстоит такое наслаждение – читать другие Ваши сборники! Спасибо (спаси Бог!)

Н. Могуева
(из письма от 09.04.1999)

Я давно знаю эту истину: есть сердца, созданные для любви. Читала, читала Вашу книгу (“Будьте Вы благословенны” – Н.К.) и убеждалась, что Вы, Ваше сердце – из их числа. Когда-то я давно прочла у Р. Роллана, что все увлечения женщин – это только поиск той единственной, – на всю жизнь, и как бы они ни говорили легко о любви, каждая мечтает только о том, чтобы найти эту единственную.

Книгу Вашу проглотила. Нет, не напрасно Вы написали мне на “Логове души” – “родственной душе”. Каждая Ваша строчка находила отклик в моём сердце, я так рада, что мы с Вами – по одну сторону баррикад, хоть, правда, я из менее воинствующих, но у меня были стихи антикоммунистические, и дневник мой пронизан политическими страстями, я тоже не могу быть равнодушной. Но Ваша энергия, Ваше деятельное кипение поражают. Ваша внешность – нежная и хрупкая, явно не соответствует мотору (мощному!), заключённому в Вас. И какая открытость, смелость. Вот тут я вижу, что мне до Вас далеко. И всё-таки хорошо, что Вы не “закрыли свой архив до...”. Сколько пробудится в сердцах людей, когда они прочтут Ваш эпистолярный роман! Господи! Как я понимаю Вас! Ваша “переписка” (ставлю в кавычки – не знаю, как это называется, когда письма только с одной стороны) с Дольским напомнила мне письма Пушкина к обожаемой жене: “Смотрелась ли ты в зеркало? А душу твою я люблю ещё больше...”. А в ответ – молчание. Так воспринимают это потомки, – ведь не известно ни одного письма Н.Н. В общем, разбередили Вы мою душу... Много, много, много в Вашей книге я воспринимала как своё, близкое, прочувствованное мной. И Ваши “дольские” письма, кажется мне, – слово в слово, чувство в чувство – мои многолетние письма в Ленинград. Нашей переписке 52 года.

В моей жизни были периоды Гончарова, Диккенса, Лондона, Лермонтова, Паустовского, Мопассана, Р. Роллана, Дж. Голсуорси, Астафьева и многих других, когда я запоем читала только этих авторов. А сейчас у меня период Кравченко. Ваши стихи – чудо. “Роскошное излишество любви, как хлеб насущный, нам необходимо”. .. И откуда Вы всё про меня знаете?.. “В душе моей покой и тишина. Простите, что Вам нежность причинила”. О Господи! Я за эту последнюю строчку целую Вас 1000 раз. Так иногда говорят: “Если бы она написала всего одну эту строчку, она бы уже вошла в историю поэзии”. – Это о Вашей строчке, этой самой. Дай Вам Бог любви и нежности. Спасибо вам за всё, дорогая.

Ваша Н.С.

(из письма **Н. Могуевой**
от 02.05.1999)

Я до сих пор хожу под впечатлением прочитанных стонів Вашей души, Вашего сердца. Если бы я могла предположить, что я прочту, я никогда не открыла бы Вашу книжку перед сном (“Собачья жизнь” – Н.К.). Но я рассчитывала прочесть один-два рассказика перед сном, а получилось всё иначе – эту ночь мне не пришлось сомкнуть глаз – я не могла заснуть, не могла оторваться от книжки, пока не прочла последнего напечатанного слова. И, закрыв книжку, я не смогла отключиться от ощущения непереносимой боли, которую испытывает человек, охваченный огнём заживо. И если бы такую боль и такой ужас испытывали многие люди и особенно подростки – бездомные собаки были бы в полной безопасности.

Л.А. Козлова, г. Нальчик

(из письма от 29.11.1999)

Спасибо Вам за урок добра, за то, что напоминаете, что в этом мире нужно помнить не только о себе, но и о братьях наших меньших.

Марина Николаевна Калинина

30.10.1999 (тетрадь отзывов)

Я сегодня был глубоко тронут и узнал много интересного. Сейчас многие думают, и я разделяю это мнение, что сознание определяет бытие, а не наоборот. Чем больше люди нравственны, чем больше проявляют добрых чувств и совершают добрые поступки, тем лучше будет наша жизнь. Считаю, что сегодняшней вечер был об этом, а не только о собаках и о хорошем (к сожалению, и плохом) отношении к ним. Спасибо Вам, Наталия Максимовна.

Фёдоров Евг. Евг.

30.10.1999 (тетрадь отзывов)

Милая Наталия Максимовна! Забросила всё и пишу Вам письмо. Телефонный разговор не вместит всего, что рвётся из моего сердца.

И совсем, совсем не кековские стихи – тема моего письма, а Ваши чудные, умные, глубокие, свежие, неожиданные, не очень простые, но такие светлые, чистые стихи. Я пишу так, как будто я впервые их для себя открыла. Так и есть! Каждый раз, когда будешь открывать Ваши сборники, будет происходить это новое открытие. Такая насыщенность яркими образами, столько ума и остроумия в них, глубоких чувств, самых разных – от солнечных восторгов любви до тоски и отчаяния, но никогда, ни одно стихотворение не повергает душу читателя в чёрную бездну, всё время чувствуется, что душа автора сильна, глубока, что она не поддастся чёрным дырам отчаяния, и это состояние передаётся тому, кто их читает. Господи, как это здорово!!

Даже о такой нечисти – о тараканах, которых я совершенно не переношу, Вы написали как-то удивительно симпатично. А о другой нечисти – о большевиках... ну, тут нет слов. Я ещё не встречала таких бьющих прямо в глаз стихов. Наталия Максимовна, из всех наших отечественных современных поэтов для меня Ваши стихи самые МОИ, самые прекрасные, так много говорящие душе и вдохновляющие.

Я уверена, что Вы ни на минуту не заподозрите меня в неискренности, в преднамеренном преувеличении, наоборот, всеми этими словами я не вполне могла выразить свой восторг (да, именно так!), своё преклонение перед Вашим талантом. Дай Вам Бог счастья, мира душе, здоровья телу, “премьер любви”, но только не таких вулканических и цунамических, как та, которой пронизаны стихи сборника “Сокровенное”. Из-под такого катка дважды не выйдешь живой. И это очень нелегко, хотя и даёт пищу душе поэта. Нет, пусть будет что-нибудь полегче.

Сейчас я полна Вашими стихами и не хочу говорить о своих. Скажу только, милая Наталия Максимовна, что Бог наградил меня таким чувством, которое не подвластно ни времени, ни расстоянию, ни тому, что это чувство не разделено. Я давно уже (очень давно!) “переплавил его в дружбу” по Вашему рецепту. Но это для наружного употребления, а внутри – там глубоко внутри – это самая высокая, самая преданная, самая, самая... Любовь! Это мой стержень, моя поддержка в трудную минуту.

Спасибо Вам за всё. Спасибо жизни, что подарила мне Вас. Спасибо, что я могу Вам открыться “настежь, как душа без тела и стыда”.

(из письма **Н. Могуевой**
от 03.11.1999)

Откуда столько тепла, добра, чувства к поэзии? От Бога! Пусть Всевышний всегда Вам помогает и дальше, ведёт Вас по жизни!

С уважением

Широкова. 27.11.1999
(тетрадь отзывов)

Уважаемая Наталия Максимовна, я Вам благодарна за то, что Вы есть, что Вы радуете наши души. Вы растрожили душу и сердце. В общем, “огончаровали” меня и моих друзей. С благодарностью

О.В. Ормели. 11.12.1999
(тетрадь отзывов)

Из книг Н. Кравченко я прочитала “Будьте Вы благословенны” и “Публичную профессию”. Какое откровение! Как будто приоткрывается тайник её души, и тыходишь в мир добра и света. Наталия Максимовна, как хорошо, что Вы есть! Продолжайте радовать нас своим искусством, своей поэзией.

Скрехина И.В., Перфилова Г.Н.
11.12.1999 (тетрадь отзывов)

Аккумуляирован. Поражён. Виват! Держать так.

А. Веретенников
корреспондент ГТРК.
15.01.2000 (тетрадь отзывов)

Спасибо Вам, растревожили душу до слёз. Спасибо за то, что подпитываете душу, заставляете её трудиться.

Н.К. Думова

17.03.2001 (тетрадь отзывов)

Сейчас первый час ночи, слипаются глаза, а я опять “совпадаю по фазам” – читаю твою книжку (“Письмо в пустоту” – Н.К.), то смеюсь над “невольником быта”, погребённым под перекрытием, то витаю вместе с тобой в облаках, то умираю от жажды любви, в общем – наслаждаюсь! Знаешь, твои стихи – надёжное противоядие от яда поэзии; – как только я подумаю: о чём бы мне написать, так вспоминаю твои стихи – и весь пыл пропадает.

Что мне голову ломать,
если всё описано,
ведь в Наташиных стихах
отразилась истина.

Н. Шаховская

(из письма от 17.03.2001)

Наталии Максимовне – светлomu лучику в жизни многих, в том числе и в моей.

Я благодарю Вас и судьбу за то, что почти десятилетие назад произошла встреча с Вами на лекциях, и с тех пор я тоже греюсь в стихах и прозе лучших поэтов века, Ваших в том числе, живу Вашими рецептами и делюсь ими с другими. Низкий поклон и сердечная благодарность.

С глубокой признательностью

Н.А. Дружина

(из открытки от 31.03.2001)

Вы за стихи меня простите,
огрехи строго не судите.
Из сердца моего Вам этот свет!
А Вы другим светите.
Борясь с бедой, нам путь Вы освещайте,
но только сами не сгорайте.
Кто хоть глоток испил стиха живой водицы
из родника поэтов проводницы –
тот ожил и воскрес на долгие года.
Такая Вы целебная вода!

Валерия Колмацуй

(из письма от 05.01.2002)

Наталья Максимовна, здравствуйте! Спасибо за книгу “Письмо в пустоту”! Вы скажете: “Как? Я Вам её не дарила”? Саша Ерохин принёс. Я исчезла, занимаюсь кооперативом. И вдруг – Ваша книга в руках. Сажусь, открываю (все дела бросила!) и не могу оторваться. Хочу дочитать главу и отложить. Нет! Не могу – опять читаю, и так до корочки, до последней. На одном дыхании. Сколько всего уместили Вы в этой маленькой книжке, – и политика, и культура, и человеческие судьбы... Вся наша жизнь человеческая... Спасибо!

Мария Сергеевна Федотова
(из письма от 05.02.2002)

Огромное спасибо за большой свет Вашего мастерства, за любовь к поэзии, за душу светлую, добрую, что Вы нам дарите. Да это же шок в хорошем смысле!

Лена Гурьянова.
16.03.2002 (тетрадь отзывов)

Дорогая, милая и многоуважаемая Наталья Максимовна! Спасибо Вам за Ваш талант, за то, что Вы так щедро делитесь своим добром душевным, своим теплом со всеми нами. Я 41 год работала детским врачом, детским кардиологом. Так вот Вашу профессию я хочу сравнить со своей. Я врачевала сердца детей, а Вы врачуете наши души! Так будьте Вы трижды счастливы!

С глубоким уважением к Вам и Вашему творчеству, искренне Ваша

Надежда Михайловна Семёнова
(и по поручению ещё
10 таких же почитательниц).
31.03.2002 (тетрадь отзывов)

Помню, как в самом начале нашего знакомства меня поразила Ваша необыкновенная открытость, распахнутость. О своих чувствах Вы говорили напрямую, подставляя свою душу на суд читателя, зная, конечно, что читатель разный. Недавно в журнале я прочла стихотворение Сергея Гончаренко:

Поэзия, а не стихосложение, –
не стоит даже жалкого гроша,
когда не совершает обнаженья
в ней в общем-то стыдливая душа.
Душа того, кого зовут поэтом,
и у кого иного нет пути,
чем исповедь перед глумливым светом
в надежде отклик в ком-нибудь найти.

Последняя строчка, мне кажется, выражает в чём-то Вашу суть. И я знаю, Вы находите отклик во многих, многих сердцах!

У нас не положено сравнивать стихи современных поэтов со стихами великих классиков. Но я могу сказать совершенно искренне: я могу читать, читать своего богоносного Пушкина, а потом беру Вашу книжку и с таким же упоением читаю, а порой даже Ваши стихи ближе моей душе. Это и понятно: женские души общаются на особой волне.

Все книжечки с Вашими стихами взяла моя внучка для прочтения (ей 14 лет). Держала долго. Наконец я взяла их и с радостью увидела, сколько карандашных пометок в этих книжках. Она многое выписывала. Вот и эта пробуждающаяся душа почувствовала Ваши стихи и откликнулась. И, наверное, они послужили (конечно же!) в какой-то степени образованию её души – самому высшему образованию.

Дорогая Наталия Максимовна, жду Ваших новых книг. Ваши стихи о поэтах – чудо! Будьте здоровы, вдохновенны и менее уязвимы. Вас любят, ценят многие, многие. Вы знаете это.

(из письма **Н. Могуевой**
от 11.04.2002)

Здравствуйтесь, издавшие книгу “Письмо в пустоту”! Спасибо Наталье Максимовне Кравченко за всё, и присоединяюсь к потоку благодарностей в её адрес. Прошу вас, передайте ей об этом.

Стихами Н.М. Кравченко я переболела, даже через себя пропустила. Сейчас улеглось, я уже спокойна, поэтому и пишу.

Я – давняя поклонница Дольского, уже как 20 лет. Слушаю время от времени его и... никакой альтернативы нет ему. Заполучить книгу “Будьте Вы благословенны” было бы здорово для меня! Вот это и есть мои отзывы и заявки.

Римма Михайловна Красовская
(из письма от 07.04.2002)

Здравствуйтесь, дорогая Наталья Максимовна! Меня согрело слово “дорогая”, которым Вы ко мне обратились в письме. И я Вас тоже им согреваю. Взяла письмо из ящика и – глазам не поверила. Сама Кравченко Н.М.! Сердце забилося... иду, улыбаясь, а прохожие смотрят и думают – какая счастливая женщина идёт! Такая занятая, и для меня нашлось время. Спасибо!

А Ваш “Рецепт” теперь в моей тетради. И вот это: “Я сейчас – ни с этими, ни с теми. Я сейчас с собой наедине...”.

Наталья Максимовна! Прочитала Ваши “Будьте Вы благословенны” и “Публичную профессию”. Читаются Ваши книги

очень и очень заинтересованно, – и смеюсь в голос, и где-то слезу выжимают, и возмущаюсь вместе с Вами, и радуюсь. Я теперь знаю Вас с детства. Замечательные книги!

И ещё я поняла из Ваших книг, что я тоже настроена на эту же “волну”, что и Вы, как Вам очень многие пишут об этом, с нашей общей “волны”. Я на Ваши книги так реагирую, что болела даже от них, спазмы были – дней 10 не проходили, так плакала. А муж говорит: “Это кора с души сходит”. И всё ещё сходит и сходит кора, сколько же её тамросло, что до сих пор плачу?

Наталья Максимовна! Теперь о Дольском. Где бы я ещё могла узнать о нём столько подробностей, если бы не Вы? Спасибо! И, оказывается, вы общались. Да с кем только Вы не общались! У Вас очень интересная жизнь. Это же надо, сам Дольский сидел у Вас на кухне и ел... абрикосовое варенье. Какая Вы счастливая!

Р.М. Красовская
(из письма от 17.04.2002)

Благодарим Вас за Вашу душевную теплоту. Мы надеемся, что это не последняя наша встреча.

Ученики школы № 41
22.04.2002 (тетрадь отзывов)

Здравствуйте, дорогая Наталья Максимовна! Огромное Вам спасибо за всё! И стихи Ваши: “Встречай по душе меня, не по уму, а то мы тут все одичали...”, и эти: “...над кровлей полнокровная луна омыла всё, что полночь очернила...”, и “Утро – самый нежный час, обморок зари...”, и многие другие, которые я очень часто применяю в каждодневной моей жизни, в зависимости от ситуации – хочется читать и читать. Моё четверостишие Вам:

Когда я открываю Ваши книги,
как будто в дом родной я захожу.
Там комнаты – стихи мне,
и с ними, в них живу, дышу.

Дочери подарила 2 Ваших сборника: “Чужая жизнь” и “Фрагменты счастья”, а внукам – “Собачью жизнь”. Внучка-первоклассница тут же села читать. После прочтения Вашей книги “Собачья жизнь” я тоже очень захотела написать о своей собаке. Как мы её подобрали, бродячую, ничью, с рванным ухом. А дочери на сборнике “Чужая жизнь” я написала: “Моей любимой доченьке – стихи моей любимой поэтессы Наталии Кравченко”.

Р.М.Красовская
(из письма от 05.05.2002)

Раньше, когда я ехала в трамвае до центра, а это минут 40, мне было нестерпимо долго ехать. Сейчас, как только сажусь – я читаю Ваши стихи. И путь стал таким коротким, что я даже сожалею, что так быстро доезжаем. Все Ваши стихи, прозу, всё, всё, что у Вас есть – я хотела бы иметь. Я благодарна, что Вы объявились в моей жизни.

Р.М. Красовская
(из письма от 15.05.2002)

И всё равно Ваши стихи у меня на первом месте! Такая сила! Ни один поэт так не мог взбудоражить меня до Ваших стихов. До спазмов в горле. Я удивилась сначала своему состоянию. Отзыв в душе полнейший. Какая-то сверхсила в Вас заключена.

Р.М. Красовская
(из письма от 07.06.2002)

Читая стихи Наталии Кравченко

Н.М. Кравченко – любимому поэту

Читаю, читаю, читаю...
Покрываюсь мурашками, таю...

О Родины горькая участь!
Люблю, и страдаю, и мучусь...
Истерзанная и нагая,
я здесь, я с тобой, дорогая!

И не моё это время,
и мне не по силам бремя
каторжной этой жизни
моей дорогой Отчизны.

Но луч блеснул из-за тучи,
и строки, нежны и летучи,
влекут и зовут за собой
в далёкий тот край голубой,

в тот край, где, любовью дыша,
чужая томится душа.
В тот край, где, воспрянув из Леты,
встают, оживают поэты,

где магией дивного слова
в наш мир возвращаются снова
из царства небытия и снов
Бальмонт. Мандельштам. Соколов.
И многие, многие другие,
забытые и дорогие.

Читаю, читаю, читаю...
В восторг прихожу и страдаю...
Вновь дивной строкою упьюсь,
люблю, ненавижу, молюсь...

Читаю, читаю, читаю...
Историю мятущейся души листаю.
О как озарена и хороша
поэта окрылённая душа!

Дорогая Наталия Максимовна! Спасибо Вам за радость. Ваши стихи – это одно из немногого, что привязывает меня к жизни. Дай Вам Бог силы, здоровья и вдохновения.

(из письма **Н. Могуевой**
от 28.08.2002)

Милая Наталия Максимовна! Ваши стихи, посвящённые Н. Могуевой, меня потрясли. (“Женщина, влюблённая в природу...” – Н.К.). И хоть в них много фактов моего бытия, как-то трудно отнести все эти прекрасные строки к себе. Спасибо, спасибо Вам огромное за чудесные стихи! Мне так нравится женщина, изображённая в них! Но наша русская низкая самооценка не позволяет мне в полной мере отнести к себе все эти прекрасные слова.

(из письма **Н. Могуевой**
от 31.08.2002)

Здравствуйтесь, уважаемая Наталия Максимовна! Недели три назад купила Вашу новую книгу “Фрагменты счастья”, перечитала ещё раз Ваши книги, что у меня были в моей библиотеке поэзии, а теперь решила поделиться своими впечатлениями.

Ещё после первого прочтения мне понравились Ваши стихи “Кончился день. Опускается занавес...”, “Ждать тебя с работы...”, “Дендик”, “Мир мой смирен, одномерен...”, “Выше окон, выше крыши...”, “День никакой /декабря?мартобря?..”. “Лохматое, неприбранное счастье...” и многие другие. Между тем не всё мне нравится в ранних сборниках. Скажем, книги “Любовь моя, сокровище...” и “В логове души” смутили меня не совсем тактичными и несправедливыми нападками на современную культуру.

Сборник “Фрагменты счастья” оставил ощущение чего-то светлого и тронул своей искренностью. В нём есть и юмор, и грусть, и жёсткая правда, и женское лукавство. Мне близки простые бытовые стихи – о семейных буднях, нежности и внутреннем мире обычных людей. Люблю и пейзажные зарисовки, похожие на лёгкие акварельные этюды. Меня восхитили четверостишия, так как Вам удалось каждым четырёх строчкам придать самодостаточность. В любом случае, спасибо за Ваши стихи, многие из них созвучны моему мироощущению. И спасибо за возможность написать лично Вам. Я бы с радостью прочитала, если доверите, что-нибудь из свежего, возможно, ещё не опубликованного.

У меня есть стихи, вдохновлённые Вашей лирикой. Не хочу показаться навязчивой, но мне хотелось бы вести с Вами переписку. Мне было бы интересно узнать ваше мнение о некоторых моих стихах и стихах саратовских поэтов.

Благодарю Вас ещё раз за те чудесные часы, что я провела за чтением Ваших книг. С искренним уважением

Рудова Анна Сергеевна
преподаватель СГСЭУ
(из письма от 10.09.2002)

Ваше мнение о современной поэзии, критерии и оценки мне очень интересны. Простите, если заставляю Вас повторяться, умоляя поделиться впечатлениями. Общаться с уже именитым поэтом – это невиданная роскошь для такой юной поэтессы, как я. Мне ведь только 26 лет. Но, если вспомнить классиков – мне уже 26, а я ещё ничего заметного не написала, не издала... P.S. Сегодня зашла в Дом книги, а “Чужой жизни” уже нет. Где ещё её можно приобрести?

А.С. Рудова
(из письма от 16.09.2002)

Захожу иногда в Дом книги, Ваши сборники вижу, но только те, какие у меня уже есть. Про себя думаю: “Почему они стоят, они должны раскупаться моментально”.

(из письма **Р.М. Красовской**
от 25.09.2002)

И снова праздник! Дождались встречи с Вами, Наталия Максимовна. Трижды спасибо Вам и низкий русский поклон за то, что несёте светлое, доброе в наши сердца.

Супруги А.А. и А.Д. Мартыновы.
26.10.2002 (тетрадь отзывов)

Свети и дальше так же ярко, трепетно и возвышенно, мы все тебя любим и боготворим!

Твоя верная поклонница
Шаховская Н. 26.10.2002
(тетрадь отзывов)

Хочу с Вами вкратце поделиться мнением о “Чужой жизни”. Многие из стихотворений мне понравились. Это шестое стихотворение из цикла, посвящённого Цветаевой, “Я никуда не вступаю...”, “Убожество, неандертальство...”, “Музыка”, “В булочной”, “Под хруст листвы выслушиваю грусть...”, “Обиды – на обед...”, “Пунктир звезды прочерчивает след...”, “Вот гудок... ещё гудок...”, “От сиреневой страсти обуглясь. ..”, “Идут года, бегут недели...”, “Зову тебя, Ау! – кричу. – Алё!..”, “Снег”, “Я люблю тебя всю своей подноготной...”, “Мой дом, мой кров, моя пещера...”, “Перед зеркалом красуюсь...”, все стихи о Дендике. Это – стихи, которые я приняла до самых глубин, впитала в себя. Раздел “Поэты” интересен Вашим анализом и мнением, изложением чужих путей. Честное слово, некоторые стихи можно печатать в учебниках по литературе вместо справки о жизни поэта. Многие из Ваших стихов о поэтах я уже давно знала. Извиняюсь за нескромную просьбу: не могли бы Вы дать мне почитать что-нибудь Марии Шкапской? В “Чужой жизни” Вы оригинально отзываетесь о её творчестве, и я очень заинтересовалась.

Что касается поэмы (“По ту сторону света” – Н.К.), то, прочитав её уже б раз, я так и не поняла, что именно Вы хотели донести. Вы начали с того, что это – репетиция ухода, Ваша попытка заглянуть за черту. И увлеклись, так и не вернувшись из мысленного путешествия в небытие. Вы начали с вопросов: что же там, за чертой? Всю поэму Вы описывали то улицы, то души, то волны, то корабль, то замки, то холмы и сирен, но чёткого ответа так и не дали. У меня сложилось впечатление, что Вы не сложили для самой себя ясный образ, что же там, за пределом земного бытия. Получается, там всё то же, что и здесь, но чуть под другим углом. И я так и не поняла, хорошо там или нет.

(из письма **А.С. Рудовой**
от 13.11.2002)

Милая Наталия Максимовна, как это Вы с такой чистой, светлой душой, с такими дивными, светлыми стихами... как это Вас хватает на искреннее восхищение и любовь ко всем, всем им – со всеми их вывертами, к бродягам и пропойцам...

(из письма **Н. Могуевой**
от 25.11.2002)

Дорогая Наташа! Я счастлив, что “открыл” Вас, пусть с запозданием. Вы щедро дарите тепло своего сердца, своей души. Мне кажется, что строчки Н. Заболоцкого “не позволяй душе лениться” полностью относятся и к Вам. Спасибо за радость общения с Вами.

Вячеслав Иванович Марьин,
химик. 21.12.2002
(тетрадь отзывов)

Все поэтические лекции Натальи Максимовны Кравченко замечательны. Их отличает доскональное знание материала, филигранное умение его преподнести и высветить ту индивидуальную жемчужину раковины поэта, без которой нет образа. Наталья Максимовна – человек высокой духовности и мощного интеллекта. В ней нет стыдливой ограниченности мещанства, которая никогда не даёт правильного представления о предмете разговора. Она не боится показать поэта целиком, живым, не оскопленным, прикрывая большую часть души и тела в угоду тем или иным течениям. На каждой её лекции получаешь не только знания, которых нет ни в одном учебнике, монографии, не только заряд энергии и положительных эмоций. Это постоянно – глоток хрустального горного воздуха в затхлости миазмов и машинных выхлопов, стимул вспышки духовности и расширения горизонта мысли. Недаром эти лекции посещают люди, умеющие ценить жизнь, жаждущие прекрасного и высокого в нашей повседневности. Поэтому я много лет испытываю огромную благодарность к любимой Наталье Максимовне. Она стала неотъемлемой составляющей нашей культурной и духовной жизни. Её лекций мы ждём больше, чем праздника. Это общеизвестный факт. Может быть, к сожалению, мы к этому относимся как к данности и молчим, как о любви к родителям или детям, понимая в глубине души, как нам повезло.

Но сегодняшнюю лекцию о Марине Цветаевой я считаю событием не только в жизни Саратова. В самую десятку!!! Цветаева всегда была моим жизненным поэтом, поэтом над поэтами. Никто не мог рассказать о ней так полно и ёмко, как она того заслуживала: ни в Питере, ни в Тарусе, ни в Москве, ни в СГУ, нигде. И я стала думать, что это невозможно. Невозможно воссоздать тот особый мир Цветаевой, которому нет аналогов, невозможно соединить все составляющие её бытовой и духовной жизни так, как они были соединены в ней в то время. И вообще – судьба поэта, тем более её душа – великая тайна, невыразимая, непостижимая. Но сегодня произошло чудо! Нескончаемо жаль, что эта лекция не записана на видео и её внутренняя энергетика ускользнула, как чудное мгновение, коснувшись крылом наших душ, окрылив и одухотворив их. Такие явления не тиражируются. Я глубоко убеждена, что эта лекция блистала бы бриллиантом во много карат в любой аудитории, при любом составе, даже академическом, слушате

лей. Наталья Максимовна – лектор от Бога. Ах, как жаль, что столько великих талантов у нас в России существует в неизвестности, свет их звезды доходит до немногих. А как бы хорошо подпитать их славой, признанием. Сколько бы ослепительных лучей это прибавило им. И как бы это обогатило и согрело нас. Где вы, специалисты, журналисты, критики, сильные мира сего? Ау! Поддержите талант, отогрейте его в ладонях славы.

Так чем же так потрясла меня эта лекция? Конечно, это многолетняя планомерная кропотливая работа по сбору огромного эксклюзивного материала, наверное, немалые материальные средства, затраченные на добычу его, безукоризненное артистичное владение этим материалом, манера подачи его производят большое впечатление. Любовь к поэту, гражданину, женщине, понимание личности, её сути – это здорово! И это под силу только высокому специалисту. Но не только это отличает лекции Н.М. У высоких специалистов это есть. Лекция Н.М. – над всеми. И если бы Марина Ивановна Цветаева восстала, она бы слушала эту лекцию, тихо лия слёзы очищения, радости от понимания и разделения трагедии её души. Только большой поэт, гражданин, русский духом человек мог так правдиво и достоверно представить эту гениальную личность, целую эпоху поэзии – Цветаеву. Н.М. единственная смогла показать эту космическую величину, дав нам прикоснуться к её судьбе, к её душе, напоив нас её поэзией. Ах, какое это чудо, как это невыразимо прекрасно!

И когда в очередной раз Н.М. читает свою лекцию в плохо оборудованном зале, отдавая весь жар души и мысли нам, её благодарным слушателям, я не перестаю удивляться её духовности, цельности и мужеству. И это происходит в нашей развалившейся стране, в период безвременья, бездуховности. Где берутся силы на этот ежедневный подвиг?

Низкий поклон Вам, наше благоговение и любовь. Дай Вам Бог!

Арефьева Г.И., к.м.н., врач
(из письма в библиотеку
от 23.11.2002)

В наше смутное, меркантильное время получить такой большой глоток духовной пищи – большое счастье. Спасибо, Наташа.

Ирина Духовникова
15.02.2003 (тетрадь отзывов)

В прошлом году нам было предложено учителем литературы написать реферат о творчестве саратовских писателей. Я читала произведения некоторых моих земляков: В. Мухиной-Петринской, Н. Палькина, Л. Кассиля, М. Алексеева, И. Тобольского. А два года назад бабушка повела меня на вечер Наталии Максимовны Кравченко. Её стихи, искреннее отношение к окружающим людям, к родной природе, к животным поразили меня. И я решила написать реферат именно об этом поэте.

Стихи Наталии Максимовны заставили меня задуматься о красоте в нашей жизни, об ответственности за всё живое, о судьбах зверюшек, намного расширили мой кругозор. Благодаря этой работе я открыла для себя мир поэзии и необыкновенного поэта Н.М. Кравченко.

(из доклада по литературе на научно-практической конференции “Нам жить в XXI веке” ученицы 7”б” класса гимназии №4 **Безменовой Дарьи**. Март 2003)

Свет твоего тепла не жёлт, а фиолетов:
в нём – мудрость жизни всей – противоречий гладь.
Нет, юность не прошла, и неизменно это:
духовный твой костёр не устаёт пылать!

Нет, молодость жива, душа её нетленна:
тебе не занимать энергии добра.
Ты – просто человек необыкновенный.
Да здравствует твоя весенняя пора!

Тамара Молодиченко
07.11.2002

Ты любимое делаешь дело
и в историю края вошла.
Будь всегда увлечённой и смелой,
продолжая благие дела!

Окруженье друзей настоящих
пусть пребудет с тобою всегда.
И поэта межзвёздное счастье –
на минуты, часы и года!

Обретение смысла святого,
достиженье великих высот,
откровение дела и слова,
и признание, и долг, и полёт!

Светлый лик твой – как образ Мадонны,
доброту излучает всегда.
Пусть же творчество будет бездонным!
А что осень пришла – не беда.

Золотой романтический локон
с твоим обликом слился навек.
И зарядов духовного тока
нескончаем в душе твоей бег!

Т. Молодиченко. 07.03.2003

Прежде всего приковала внимание фраза: “Все, кто болен, беден, одинок – заходи в стихи мои погреться (стихотворение “Копилка” – Н.К.). Я не отношу себя ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим, но спектр лиц, к которым обращается автор, мне близок и импонирует вполне. Присмотрелась, прислушалась, причиталась. И вот уже третий месяц живу в обнимку с её стихами. Притягивает стойкая позиция гражданина, живущего нашими болями за страну.

Н.С. Войцеховская
(из письма от 29.03.2003)

Милая Наталия Максимовна! Перебирала сборники стихов, открыла “Письмо в пустоту” и всё на свете забыла. Читала, читала, читала. Не устаю удивляться тому, что Вы всё знаете про мою жизнь и душу. Сборник этот весь испещрён карандашными пометками.

Все мои “новости” могли бы уложиться в Ваши две строчки:

– Как живёшь? – Мучительно живу я.
– Эй, как жизнь? – Не кончилась ещё.

Я всегда Вас люблю и восхищаюсь Вашими стихами, никогда они мне не надоедают, читаю часто и открываю всё новые мысли и чувства в них и ассоциации с моей жизнью.

(из письма **Н. Могуевой**
от 26.04.2003)

Снимаю шляпу перед Вами,
Наташа, чудное дитя!
Меня Вы прозой и стихами
очаровали, не шутя.

И, стало быть, в мою эпоху,
пока такие люди есть,
в ком живы ум, душа и честь,
не так уж всё на свете плохо.

Как внешность обманчива Ваша!
Вы – куколка, добрая фея.
Вам в райских садах среди пташек
витать, о земном не жалея.
Черты Ваши ангельски ясны,
от Вас не исходит угроза.
Должны Вам казаться ужасны
суровые будни и проза.
Ваш дар восхищенья достоин,
великое кроется в малом.
Не кукла, не ангел, Вы – воин,
Вы – рыцарь с открытым забралом.
И, нежными феи руками,
круша бессердечье и лживость, –
да будут всегда вместе с Вами
любовь, доброта, справедливость!

Валерия Соколова. 22.04.2003

За стих невозможно спрятаться,
в стихах невозможно скрыться.
В них, рифмою строк распятая,
душа на любой странице.

Откроешь случайно томик ты,
и автор тебе неведом,
а стих сразу скажет – гномик он,
наряженный людоведом.

А Ваша душа лучистая
сияет из каждой строчки.
Поэзия – сердце чистое,
не только слова и точки.

Валерия Соколова. 21.08.2003

Стихи Наталии Кравченко будят в душе совершенно новые представления о том, что нам хотелось бы знать больше. На этом вечере 22 апреля её стихи поразили чистотой души и заставили подумать над тем, что происходит в своей душе.

Юлия Бортновская
22.04.2003 (тетрадь отзывов)

Много лет я на всевозможных встречах слушаю Вас, Наталия Максимовна, и каждый раз чувствую, что стихи Ваши настолько глубинны, так мощно выходят откуда-то, где грань реальности и мистики, даже не по себе становится. Многие мотивы созвучны, особенно когда я в одиночестве нахожусь на природе между землёй и небом. Особенно потрясают стихи, положенные на музыку. Это чарует и завораживает. Спасибо!

Валериан Морозов, инженер
22.04.2003 (тетрадь отзывов)

Дорогая Наталия Максимовна! С радостью убеждаюсь, что люди чуткой души всегда будут впереди на пути познания, что “истинное воображение требует гениального знания”, как сказал А.С. Пушкин. Лишний раз убедился в точности гения. Спасибо Вам...

Ю. Сидоренко, издатель
22.04.2003 (тетрадь отзывов)

Дорогая Наталия Максимовна! Продолжаю дружить с Вашей поэзией. Познакомила с ней некоторых пловцов из общества моржей “Нептун”. И, конечно, своих товарищей по компартии. В подтверждение этого передаю Вам листовку, редактором которой я являюсь, с пожеланием добра, здоровья и, безусловно, нескончаемого творческого вдохновения, радующего читателей.

Н.С. Войцеховская
(из письма от 11.07.2003)

Вы из той категории людей, очень редкой, с огромным сердцем, с исключительным пониманием. Я перед Вами преклоняюсь.

Дочери стихи Ваши очень понравились. Хотя она стихами никогда не увлекалась, особого интереса они у неё не вызывали. А вот я подарила ей два Ваших сборника – “Чужая жизнь” и “Фрагменты счастья”, и – говорит, читала с большим интересом. Хотелось читать. А книжечку “Собачья жизнь” она детям начала читать и несколько раз прерывалась, чтобы поплакать. В конце концов так она и не смогла дойти до конца, так что дети сами дочитали её по отдельности – Ромик сам и Ксюша – сама.

Р.М. Красовская
(из письма от 10.09.2003)

Какое прозрение! Вечное! Для всех! Чудо! Прошибает до слёз.

И. Корнилов, писатель
(пометки на полях книги
“По горячим следам”)
Ноябрь 2003 г.

* * *

Мой Дон Кихот! Готовы латы
и Росинант копытом бьёт!
И снова в бой пойдёшь одна ты,
чтоб мельниц прекратить полёт.

Они огромны и скрипучи,
ты одинок и очень мал.
И воронья слетятся тучи,
чтоб посмотреть – каков финал?

Мой славный рыцарь, ты бесстрашен,
и в бой не можешь не ходить.
Но горько мне, что мельниц наших
тебе вовек не победить.

* * *

Наташа, ты беззащитна,
И всё-таки рвёшься в бой.
Слова твои – меч и щит твой,
и сердце моё с тобой.

Но я не приемлю драку,
любовь побеждает пусть!
Учусь я прощать, не плакать,
смирению я учусь.

Вовеки и присно, и ныне
землянам дано увидеть –
противится Бог гордыне,
смиранным даёт благодать.

Валерия Соколова. 21.10.2003

Дорогая Наталия Максимовна! Вашу книгу (“По горячим следам” – Н.К.) проглотила за 2 дня, и начала заново. Стихи прочла все 3 раза, а

выборочно – не знаю, сколько. Миллион мыслей в голове, а чувств в душе – ещё больше. Спасибо Вам за то, что даёте душе напитаться из живительного источника. Читаю, читаю, читаю и мысленно говорю с Вами.

“Вся открыта перед вами
сердцем и судьбой.
Может голыми руками
взять меня любой”.

Ну уж нет, Наталия Максимовна! Не так-то просто любому взять Вас голыми руками!

“Заколотят доской гробовою.
Наметут над могилой снега...
Но опять я воскресну для боя,
если рядом почую врага”.

Вот это точно – Вы!!! Такими острыми строчечками Вы прожигаете своих врагов! Жаль мне Ваш огонь, растрачиваемый на завистников и хулителей. Лучше бы: “А он идёт себе и лая твоего совсем не замечает”. Но памфлет о стихах Кековой – чудо! Я кипела всеми этими мыслями, а Вы их выразили так точно и с таким перцем!

Я не знаю, где взять “неизреченные слова”, чтобы выразить то, что я чувствовала, читая.

“Поэзия не знает дня рожденья.
Ещё не воплощённая в словах,
она была озвучена гуденьем,
журчанием, шептаньем в деревьях,

небесным громом, рыком динозавров...
Заполнив чёрный космоса провал,
зародыш поэтического завтра
в утробе мира тайно созревал”.

Го-о-спо-о-ди!!! Как это Вы сумели? Как это?? Где это рождаются такие мысли и образы, такие строки?? А... я знаю! Это – соединение Вашей светлой головы, Вашего лучезарного, умного сердца и луча, проникшего из космоса. Стихотворение это – гениальное. (Я отвечаю за свои слова!)

Ваши стихи о дорогих умерших бьют прямо в сердце. Да, это наша вечная боль: не долюбили, не досказали все добрые слова, от чего теперь скулит душа и не прощает многого себе. Думаю о детях – не только своих, – им сейчас некогда, а потом будут страдать. “Но Сезам не откроется...”. А вот обо мне:

Нам обладанье оставляет пепел.
Съесть или выпить – то же, что убить.
А вот любить звезду в высоком небе
мне даже Бог не может запретить.

Я всю свою сознательную жизнь любила “звезду в высоком небе” и утешала себя примерно такими же мыслями. Недавно получила от своей Звезды большое письмо. Нашей переписке 57 лет! – это, наверное, уже для книги Гиннеса.

“Я несу стихи в ладонях робко
в ореоле вспыхнувшей свечи.
Только с сердца, как со сковородки, –
не взыщите, если горячи!”

Я решила, что буду галочкой отмечать особенно понравившиеся стихи, но оказались – сплошные галочки. Стихи о природе, о собаках, о любви – такие распахнутые стихи о любви!!! Душа открыта, счастлива, лучезарна, и ей всё равно, что скажут люди. Это здорово! И... опасно. Могут плюнуть в распахнутую душу. Любители такого чёрного дела всегда найдутся.

А “круги, близкие к писательским”, Вам не простят многого. Я знаю, Вы не боитесь, храбрый Рыцарь. И это здорово! Но я боюсь за Вашу распахнутую душу.

Дорогой мой бесстрашный Рыцарь Поэзии! Низкий Вам поклон! Живите, любите, пишите, одухотворяйте наш заблудший мир. И берегите свою душу.

(из письма **Н. Могуевой**
от 06.11.2003)

Спасибо за вдохновенные стихи. Счастья Вам.

Михайлова. 29.11.2003
(тетрадь отзывов)

Сейчас я позвонила Вам и расстроилась. Господи! Если бы можно было не обращать внимание на это тьяканье! Но наши “корифеи” умеют травить. Это они неоднократно доказывали во все времена. И кого травить! Как правило, тех, кто во сто крат выше и талантливее их. Только бы хватило Вашего стержня на всю эту возню. Только бы Вы не допустили всё это глубоко в душу, только бы она устояла и осталась по-прежнему светлой и вдохновенной.

(из письма **Н. Могуевой**
от 02.12.2003)

Известность и популярность Наталии Кравченко кому-то не даёт покоя. Кого-то её творчество сильно раздражает. Кто-то швыряет грязью из-за угла. Я заявляю свой протест против хамских наездов на культурно-просветительскую деятельность Наталии Кравченко.

Николай Васильевич Косолапов
(из письма от 11.12.2003)

Мне не просто понятен голос Ваших стихов – мне очень близок мир Ваших чувств. Я как будто примеряю на себя Ваши строчки. Иногда это больно делать. Потому что некоторые из них заставляют трепетать – столько в них нежности и боли. Глубина многих – умопомрачительна.

Вы – тонкий лирик и романтик с удивительно красивой и щедрой на добро душой. Хотя можете быть и жёсткой, и категоричной, отстаивая свои взгляды на эту жизнь. В чём, конечно, угадывается необыкновенная сила Вашего характера, его целостность (об этом я сужу не только по стихам, но и по Вашим журналистским публикациям). Ваше творчество – чистой воды Поэзия, напрочь лишённая эпатажности и прочих заигрываний с читателем. Спасибо Вам за ту крылатую радость, которая остаётся на душе после знакомства с Вашими стихами.

Роман Ахмеджанов, г. Калининск
(из письма от 16.12.2003)

Дорогая Наталия Максимовна! Не ожидал такого подарка – сразу несколько Ваших сборников! Ур-а-а! Но сначала – всё-таки – с-п-а-с-и-б-о! Счастье человеческое, наверное, и состоит из таких неожиданных осколков радости. Я с упоением читал Ваши книги, а особенно сборник “По горячим следам”.

Что стало с Вашими стихами в 2002-2003 годах? В них так явно проступают боль и отчаяние за Россию, за опошленность в людях, за себя, стремящуюся помочь всем и вся... Давно я не встречал такой чистоты в литературе современности, такой свежести мысли, трагичности и рядом – свет от веры в лучшее (и лучших), как в Ваших стихах. Вы очень отчётливо чувствуете то время, в котором живёте, и, не заигрывая с читателем, называете вещи своими именами. Сейчас это редкость в нашем мире лжи. Одним словом, я очарован и потрясён одновременно. Вами, Вами!

Роман Ахмеджанов, г. Калининск
(из письма от 23.01.2004)

Спасибо Вам большое за вдохновение, которое может подарить поэту только поэт. За трепет души, который всем нам необходим, как спасение от косности.

Анна Морковина, зав. Пушкинским кабинетом-музеем Областной библиотеки им. А.С. Пушкина.
31.01.2004 (тетрадь отзывов)

Посредственность всегда мстительна. И её методы всегда одинаковы. В который раз была разыграна “патриотическая” карта. Муллин и Куракин выставили себя защитниками угнетённого русского народа, а Кравченко изобразили чуть ли не сионисткой.

Юрий Епанчин. Февраль 2004
(из заметки в газету “Расклад”)

Говорят, Вы где-то стали “лауреатом” чего-то? Простите, те, кому это надо, об этом знают. Пусть Вашей рекламой занимаются другие люди, если они (подчёркиваем, они!) того пожелают. Люди мы мирные, пока не грянет. А грянуть, судя по Вашей тактике и поведению, может в любой момент. Поэтому мы даже не просим, мы умоляем Вас: пока не поздно, пойдите навстречу своим “противникам”.

(из анонимки от 28.02.2004)

Трудным в моральном плане был год для поэта Наталии Кравченко, вынужденной отвлекаться достойной отповедью на выпады жёлтой прессы. Но...

“Не страшусь ни молвы поношенья, ни мстительных стрел.
Есть особая степень души, где уже не виляют.
Я иду под упрёк, как солдаты идут под обстрел.
Только правды глоток, а потом пусть меня расстреляют”.

“Не судите то, что вам неведомо.
Не глядите грязными глазами.
Светлого, заветного, неспетого
не отдам я вам на растерзанье”.

“И слёз своих, души озноба,
всего, что не стереть годам,
писаке, критикану, снобу
я не отдам”.

И в этом суть поэта Кравченко Н., такой хрупкой с виду, но с сильным бойцовским характером.

Н. Войцеховская

(из заметки от 24.03.2004)

Поэтическое слово Наталии Максимовны Кравченко чистое, свежее, светлое, ни на кого не похожее. Тонкая лирика её стихов помогает мне “просыпаться на рассвете оттого, что радость душит...”.

Н. Войцеховская, ветеран

педагог. труда. 27.03.2004.

Стихи Ваши любимы мною и всеми, с кем я их делю, совсем юными и старыми. В каждом стихотворении – мысль, соединённая с чувством, искренность, желание добра, любовь к жизни в лучшем её проявлении...

Я всё думала: ну зачем она разворошила это осиное гнездо? Ведь закусуют. А потом поняла: для правды. Ну кто-то ведь должен сказать правду. Другие или боятся, или не умеют, или хотят жить спокойно. Но ведь сказано: не бойся врагов: в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей: в худшем случае они могут тебя предать. Но бойся равнодушных: это с их молчаливого согласия творятся на земле предательства и убийства. Поэтому я ещё раз говорю Вам спасибо. За гражданское мужество.

Т.В. Усанова.

(из письма от 27.03.2004)

Встреча с Вами, Ваши умные лекции и проникновенные стихи, Ваши письма в пустоту и по горячим следам – это просто подарок судьбы, который после страшной смерти жены в прошлом году для меня особенно дорог. Впрочем, и Ваши реквиемы по брату и по отцу мне близки и понятны, поскольку и я потерял двух своих старших братьев...

Н.Г. Рабинович

(из письма от 27.03.2004)

Уважаемая Наталья Максимовна! Ваши стихи прекрасны!!!

Сурикова Н.Б.

педагог центральной детской
музыкальной школы

27.03.2004 (тетрадь отзывов)

Наталия Максимовна, мы хотим чаще встречаться с Вами, открывать мир Ваших чувств, мыслей. Мы – Ваши поклонники, врачи детской

поликлиники №1 Октябрьского района Саратова: Скрягина М.В., Воронкова В.И., Крыльчук Г.Г., Хионина Н.И., Исаева Р.Н. и Ваша ярая поклонница Семёнова Надежда Михайловна.

(тетрадь отзывов. 27.03.2004)

Наташа, в этой жизни дикой
живи, дыши, дари, твори!
Неувядающей гвоздикой
на фоне серости гори!

Валерия Соколова. 27.03.2004

О книге “Ангелы ада”

Не бегом пробежала по первой части колоссального труда, а ступала с осторожностью со страницы на страницу, останавливалась, размышляла, и не покидало чувство удивления, как глубоко, днее дна русской поэзии спускался автор, чтобы извлечь, призвать к жизни непозволительно преданных забвению наших современников. Убеждена, что очень многие, как и я, понятия не имели о существовании такой молодой поросли в отечественной литературе наших времён. Поражает и то, сколько бесценного поэтического хранится в закромах памяти автора, в Вашей памяти, Наталия Максимовна. Когда смогли Вы столько накопить за сравнительно недолгие творческие годы, извлечь из таких глубин забытья и щедро поделиться с читателем?

Во второй половине книги, где “поэты” творят не поэзию, а гнусную пародию на неё, я с сожалением подумала, на какую пакость тратит Наталия Максимовна своё драгоценное время и духовные силы. И тем не менее, у Кравченко полная независимость суждений – это первое, и второе – всегда помнятся слова Н. Доризо:

Думаешь, правду отчётливо видно,
это, мол, правда, а то – враньё?
Нет, ежечасно дерись за неё,
правда сама по себе беззащитна.

Вот эти суждения оправдывают действия автора, когда она на страницах своих сборников стихов, в периодической печати самоотверженно и достойно сражается за чистоту и русского слова, и людских помыслов, бесспорно одерживая победу с многоликим “поэтическим” злом. Но не почиёт на лаврах, а сражается, не выходя из боёв, не пропуская выпад ни справа, ни слева, и отвечает точечным ударом, отличным аргументированным русским языком. Признаю неутомимого борца за ЧИСТОЕ во всём.

В третьей части книги из всех таких коротких творений автора пришлось мне по душе “Хотели как лучше” (стр. 335) и “Собачьи поэты” (стр. 341). Спасибо Вам, уважаемая Наталия Максимовна, за знакомство с ранее неведомыми “пасынками русской поэзии”. Им было одиноко и холодно в этом мире. Сколько “неспетых песен” ушло с этими именами. Ваше кредо в жизни – “нельзя убивать поэта нечтением, казнить его забвением” – мне импонирует вполне.

Весьма признательная
Н. Войцеховская
(из письма от 22.11.2004)

Хочется высказать восхищение и благодарность за Ваш нелёгкий труд, за Вашу необыкновенно нужную и важную просветительскую работу. Вами, Наталия Максимовна, написано немало книг – они интересны и поучительны. По ним можно проследить развитие Вашего таланта, рост творческого потенциала. Ваша последняя книга “Ангелы ада” прочитана на одном дыхании, это литературное исследование, очень интересный и полезный (особенно для профессионалов) труд.

Г.Г. Лазаренко
(из письма от 30.12.2004.)

Уважаемая Наталия Максимовна! Мудрую книгу Вашу “Ангелы ада” читаю по кусочкам, ибо с каждым днём читать мне всё труднее и труднее, но проникаюсь к Вам каким-то особым чувством, которое называется, видимо, родством душ, а точнее, может, родством памяти духовной, которая связывает нас невидимыми, но очень чувствительными узами... А ассоциаций в моём и Вашем восприятии наших жизней и вообще мира – масса, всё это я узнаю и понимаю, читая Ваши книги.

Н.Г. Рабинович
(из письма от 25.12.2004)

Дорогая Наталия Максимовна, прочитала Вашу книгу “Ангелы ада” одним дыханием. Хочется много думать, сказать, написать об этой книге. У меня к Вам, Наталия Максимовна, белая зависть: сколько Вы знаете поэтов и делаете всё, чтобы их не забывали. Я открываю благодаря Вам поэтов... “Ошалев от любви и обиды” восприняла как своё, живое, трепещущее.

Е. Гурьянова
(из письма от 4.04.2005)

Я преклоняюсь перед такими людьми... Спасибо, Наталья Максимовна, Вам за Ваш талант, за Ваше трудолюбие, за Любовь, за Вашу поэзию.

С любовью к Вам
Лохова Р.И. 30.10.2004
(тетрадь отзывов)

Уважаемой Наталье Максимовне Кравченко

Волшебница слова
вернулась к нам снова.
Мы так её ждали,
скучали, мечтали
о встрече с любимой своей
и думали, вот бы скорей
прошёл бы сентябрь,
а затем и октябрь,
и мы повстречались бы с ней!
Несёт она разум и свет.
Любимей поэта, чем наша Наталья,
поверьте, в Саратове нет!

Семёнова Надежда Михайловна
и 6 её друзей-коллег
(тетрадь отзывов, от 30.10.2004)

Здравствуйтесь, уважаемая редакция! Пишет вам заключённый саратовской уголовно-исполнительной системы.

Совершенно случайно ко мне в руки попала книга “Чужая жизнь” Н.М. Кравченко. До глубины души тронут прочитанными стихами, так как нахожу очень много схожего со своей личной жизнью. Более того, почти каждое стихотворение можно отнести к тому или иному фрагменту моей жизни. Поражён глубиной сострадания, душевной болью, переживаниями о несостоявшейся любви, выраженных в написанном. Читаю эти стихи по несколько раз, и что удивительно – читаю с огромным удовольствием, – с каждым разом находя в них новые трепетные моменты. Многих из моего окружения заинтересовала эта книга, каждый находит в этих стихах что-то схожее со своим. Вы можете приблизительно представить себе, что значит для нас, з/к, эта литература, если своё драгоценное время, сжатое до минимума время нашего досуга, мы проводим за чтением этих стихов. К огромному сожалению, нет возможности выразить слова признательности лично Н.М. Кравченко, поэтому просим это сделать вашу редакцию за нас.

Книга “Чужая жизнь” лишь десятая из книг Кравченко, а нам бы очень хотелось иметь в нашей отрядной библиотеке и другие её книги. Если вам не

составит труда и финансовых потерь, просим вас пополнить наши книжные полки сборниками стихов Н.М. Кравченко.

Убедительно прошу вас откликнуться на нашу просьбу и помочь разрешить эту проблему. Заранее премного благодарен.

С уважением, **Иван Молочко** и
коллектив з/к 2-й терапии
ОТБ-1 (из письма в издательство
от 12.01.2005)

Сегодня Анна Вы, а завтра – чудеса! –
Марина или, может быть, Лариса,
и дивный дар Вам дали небеса –
знать душу Фёдора, Иосифа, Бориса.

Не будем длить здесь список тех имён!
Кого бы ни любила муза Ваша,
ища родство в поэтах всех времён,
прекрасно то, что Вы всегда Наташа.

Светлана Юдина. 14.05.2005

КНИГИ НАТАЛИИ КРАВЧЕНКО

1. **Любовь моя, сокровище...** Стихи.– Кварк, 1993.
2. **В логове души.** Стихи.– Валер, 1994.
3. **Сокровенное.** Стихи. – Кварк, 1996.
4. **Будьте Вы благословенны.** Быль, эпистолярн. повесть, стихи.– Надежда, 1997.
5. **Публичная профессия.** Непридуманые рассказы.– Издательство СГУ, 1998.
6. **Собачья жизнь.** Рассказы.– Надежда, 1999.
7. **Звезда или хлеб?** Лекции, заметки, эссе.– Надежда, 1999.
8. **Письмо в пустоту.**– Стихи, реквиемы, заметки.
Приволжское книжное издательство, 2001
9. **Чужая жизнь.** Стихи, поэма.– Приволжское книжное издательство, 2002.
10. **Фрагменты счастья.** Стихи.– Приволжское книжное издательство, 2002.
11. **По горячим следам.** Стихи, новеллы, эссе, памфлеты, заметки.– Приволжское книжное издательство, 2003.
12. **Ангелы ада.** Статьи, эссе, заметки.– Приволжское книжное издательство, 2004.

Литературно-художественное издание

Кравченко Наталия Максимовна

Непрошедшее время

Оригинал-макет подготовлен И. Ульяновой

Подписано в печать 1.09.2005. Формат – 60х84 1/16
Бумага офсетная №1 Гарнитура Таймс. Усл.п.л. 14
Тираж 200 экз.

Приволжское книжное издательство,
г. Саратов, ул. Вольская, д. 58

**ЗАЯВКИ И ОТЗЫВЫ НА КНИГУ ПРИСЫЛАТЬ
ПО АДРЕСУ: 410009, г. Саратов, Проспект им.50-летия Октября д.60
кв.45. Тел.69-52-92**